

## Воспоминания

Я не люблю праздников.

Я не люблю многолюдных, шумных праздников и сборищ. Потому что в большой толпе, среди множества мирных, весёлых лиц трудно угадать, кто Человек, а кто притворяется человеком. Кто сегодня чёкается бокалом с другом, а завтра предаст его. Кто даёт ребёнку выдранного из гнезда птенца, со смехом наблюдая, как ребёнок душит его в своих цепких ручёнках. Кто держит на привязи некормленную собаку. Кто пишет донос на своего начальника, в надежде занять его место. Кто желает смерти своей престарелой матери. Кто был в числе тех, кто кричал нам: «Ложись! Вставай!». Чьим не только хлебом насущным, но и средством обогащения были клевета, донос, ложь, предательство и имущество преданных ими. У кого и сейчас загораются глаза и рот щерится в улыбке надежды, что «всё вернётся» при имени Сталина, названного по радио или телевидению в доброжелательном тоне.

Кто вешает одежду в шкаф, ставит посуду в буфет и спит на подушках, забранных в квартире выданного немцам еврея.

Кто не просто убивает мышь, а придумывает для неё изощрённые пытки, безнаказно утоляя свою врождённую склонность к садизму.

Кто на уроках в школе толкует детям о гуманизме и человечности, а сам, ради забавы, стреляет в гнездо с галчатами.

Кто ломает молодое деревце, посаженное другим для украшения его жизни. Кто насильничает, убивает и находится среди людей только потому, что умеет замечать следы.

Кто отнял у меня молодость и убил душу, которую не смогло убить моё голодное, оборванное детство.

Мне жаль того человека с петлёй на шее, который, умирая, воскликнул: «Люди, я любил вас!».

Потому что «Люди» – это все люди, а всех любить нельзя, и человек, сказавший это, невольно включил в число любимых и своих убийц, потому что они тоже были людьми. Как и все, они целовали своих детей, ласкали своих жён, обрекая чужих жён и детей на муки смерти.

Когда мне лицемерно говорят: «Нужно любить людей, а не животных», я ядовито парирую: «С разборчиком!»

Люди заставили меня полюбить одиночество и заменить общение с ними любовью к животным, предаваемым на каждом шагу, но не способным на предательство.

Впрочем, мне не хочется больше говорить об этом. Ничего я не могу изменить в природе человекоподобных, поэтому – ну их... подальше. От моего гнева им ни холодно ни жарко. Лучше уж пожелать им однажды проснуться людьми.

Я не человеконенавистница. На земле есть много хороших людей, и я люблю их, знакомых и незнакомых, тех, с кем не страшно очутиться рядом и на общем празднике и в общей беде.

Им не нужно моё благословение, потому что последний час разлуки с жизнью не будет страшным для них. Их совесть уснёт спокойно вместе с ними, не потревоженная угрызеньями, укорами и страхом перед возмездием...

Обычно детство вспоминают с умилением, как лучшую пору жизни. У меня такого умиления нет. Если бы мне предложили вернуть мое детство, я бы отказалась. Кому оно нужно, такое.

Правда, были тогда, в самом раннем детстве, моменты, которые теперь вспоминаются с улыбкой. Например, стыд перед цветами.

Когда я тёплым летним утром, в компании других ребяташек, прибежала на берег речки, мне казалось, что сверкающие от росы беленькие ромашки и голубые незабудки смотрят на меня своими жёлтыми и белыми сердцевинками–глазами, показывают на меня пальчиками–листочками и смеются над расплзающимся, потерявшим первоначальный цвет платьишком. Я поскорей сбрасывала с себя свои лохмотья, погружалась в прозрачную воду и оттуда исподлобья, застенчиво смотрела на смеющиеся цветы.

Правда, в условиях разрухи и голода времён гражданской войны моё детство было не хуже, а может быть даже лучше детства многих людей, и ныне живущих, и тех, что погибли, так и не познав мира, в который едва успели вступить.

Я не испытывала жестокой отверженности беспризорного сиротства, на которое в те годы можно было наткнуться на каждом шагу. У меня была крыша над головой и были родители. Но отсутствие пищи было у нас явлением хроническим почти в течение всей жизни под родительским кровом. Зато была надежда, что когда-нибудь все будет. Надежда далекая и фантастическая, и до этого «когда-нибудь» еще надо было дожить, а время злобно старалось сделать все, чтобы мы не дожили.

Голод и холод, босые ноги на снегу и болезни. Страстная тяга к недоступным игрушкам. Вода в чужом колодце, запертом на замок, в то время когда мы, как курята с раскрытыми клювами, плакали, истомленные жаждой. И росли мы тощими, хилыми и малокровными, как трава под камнями, но упорно тянулись к солнцу, а вместо убитых голодом клеток появлялись новые, таившие в себе противодействие лишениям и мудрость опыта.

Очень рано, в пятилетнем возрасте, во мне умерла младенческая вера в человеческое бессмертие. Ее убили гайдамаки. Формула «человек человеку – волк» была мне до этого неизвестна, потому знакомство с ней и гибель веры, которую дети обычно теряют без особых переживаний, я перенесла очень трудно.

Испуг, который я пережила, у меня вылился в продолжительный душевный недуг.

Срок жизни – до ста двадцати лет, обещанный мне мамой, не утешал, потому что в детстве сто двадцать лет – все равно что «завтра», и ожидание этого «завтра»

покрыло черной пеленой ту пору детства, которая у ребенка должна проходить в светлом сиянии неведения и радости.

Меня мучили страшные сны, одолевали кошмары. Я мало спала, просыпалась на рассвете, выходила на крыльцо, чтобы встретить солнце, и только оно могло на короткое время развеять мглу моего страха. Я замирала от восторга перед красотой наступившего утра. Но опять приходило «это».

Зачем, зачем все так красиво на земле. Зачем жизнь дразнит человека своей красотой, а потом гасит ее, отнимает, как игрушку, которую дали только поддержать, полюбоваться ею, а затем грубо вырывают из твоих слабых рук.

И зачем люди хлопчут, если «завтра» никакого уже не будет? Будут другие дети, другие люди, но и для них придёт своё «завтра».

В моем истерзанном, полубредовом детстве участвовал и Бог. Бог нашей слепой бабушки, вечно шепчущей молитвы, в которых немало времени и места занимали проклятья единственному сыну за то, что он смеялся над ее верой, ненавидел ее фанатизм и сиденью в затхлом сумраке синагоги предпочел батрацкую работу на крестьянских полях. Впоследствии он нанес ей сокрушительный удар, приняв крещение ради невесты и хозяйства, которым наделили его крестьяне.

Бабушкин Бог был страшноват. И характер у него был бабушкин: обидчивый, самолюбивый и мстительный. Вечно требующий поклонения и любви и ничего не дающий взамен. И все же я подлизывалась к нему, особенно по ночам, когда меня мучили кошмары. Тогда я, под бабушкину диктовку, бормотала древнюю молитву, в которой ни слова не понимала, кроме двух первых слов: «Шма, Исроэль» – «Слушай, Израиль!», из чего я заключила, что имя Божье – Израиль ...

Мои родители. Что я могу сказать о них. О них вообще больно говорить. В каких-то талмудах о ком-то говорится: «Прокляты до седьмого колена...»

Так вот это тоже наверняка о моих далеких предках, не знаю только, в каком колене. Моя родословная для меня вообще – темный лес. Такой же тьмой она была и для моих родителей. Оба с младенчества сироты, откуда им было ее знать.

Плохо началась их жизнь, плохо она и кончилась. Сыновей унесла война. Подающую надежды дочь унесло за колючую проволоку. Каково им было, когда больные, одинокие, голодные и бесприютные они умирали под палящим южным солнцем...

Так пусть мои воспоминания будут им скромным памятником, который нельзя поставить на их безвестные могилы, потому что настоящие памятники ставят на могилы неизвестных солдат, а могилы их матерей и отцов, погибших на тяжелых дорогах эвакуации, давно срыты бульдозерами и засажены картошкой.

...Осенней ночью 1916 года по реке Десне пробирался старый пароходик. Каютные пассажиры давно спали. А на палубе, закутавшись до бровей, неподвижно, чтобы речной туман меньше проникал под одежду, теснились пассажиры, для которых теплые каюты были недоступны. Теснились сплошной, безликой и одноцветной в тусклом свете фонаря массой.

Но все же одна женщина выделялась среди безликой толпы. Выделялась не солдатской шинелью (тогда не в диковину были женщины в шинелях) и не солдатской шапкой, поверх которой был повязан платок, а глазами, налитыми ужасом, и корпусом, непрерывно и мерно покачивавшимся, как у человека, измученного страшной зубной болью.

Это – моя мама. На руках у нее двое детей – мальчик двух лет и годовалая девочка, мои брат и сестра.

Закутанные в одно желтое плюшевое одеяло они некрепко спят. Холодный ветер все же находит отдушину в тщательно подвернутом одеяле и осыпает ознобом маленькие тельца. И неудобно двоим в одном одеяле. Они ворочаются, хнычут, и мать «утешает» их шлепками.

Лучше всего мне. Я путешествую с комфортом, потому что я еще не живу в этом холодном, неудобном мире. Я еще не родилась, но мама уже ждет меня. Скоро.

Мы едем спасать отца.

В одно злосчастное утро, когда солдаты Черниговского резервного полка, выстроенные на утреннюю молитву, затаили обязательное «Боже, царя храни!», из слаженного солдатского хора вдруг вырвался звонкий подголосок, который старательно, с упоением протянул: «Боже, ца-рю на-се-ри-и!»

Нет, это не мой отец обладал таким звонким голосом. Отец любил петь за работой, но слух у него был неважный, а голос, хоть и не противный (а мне он в детстве казался даже приятным), но какой-то глухой, хрипловатый.

Когда раздалась эта самозабвенная соловьиная трель, солдатский хор на миг поперхнулся, но тут же оправился и потянул было дальше. Грозный окрик офицера мгновенно оборвал пенье.

Наступила тишина. В испуге застыли солдатские шеренги. Даже воробьи под козырьками казарменных крыш затихли, как бы почуяв неладное в этой внезапно наступившей грозной тишине.

Я ничего не понимаю в системе военного построения и в табели о рангах, знаки различия для меня – темный лес, и я не знаю, на каком фланге, третий в ряду среди солдат невысокого роста, стоял мой отец. (В свое время я забыла спросить его об этом.)

К этому-то флангу и направился офицер, не знаю какого ранга, остановился перед крайним в ряду и уставившись удавленным взглядом на оцепеневшего солдата, рявкнул:

— Кто пел «Боже, царю насери!»... туды мать!

Не могу знать, ваше благородие! — одеревеневшим от страха языком пролепетал солдат. —

Бац! Бац!.. Две здоровенные затрещины обрушились на скулы солдата и опрокинули его назад, но солдатские руки подхватили его, поставили на место, и он снова застыл, только от покрасневших скул побежала к крыльям носа и подбородку обморочная желтизна, да две слезы выкатились из округлившись глаз.

С тем же вопросом – переход к другому солдату, не дожидаясь ответа – бац, бац... Затем – к третьему, то есть – к моему отцу.

Бац!..

Но второго «бац» не последовало. Вместо него послышалось что-то вроде «кряк». Это небольшой, но налитый силой ярости кулак отца опустился на переносицу офицера.

Офицер, схватившись руками за переносицу, с полминуты стоял, обалдело уставившись на побледневшего солдата. Потом, вынув носовой платок и приложив его к носу, вытащил из кобуры пистолет.

За спиной отца зашевелилась и глухо зароптала солдатская масса:

— Без суда!.. Нет такого закона!..

Офицер будто не слышал этого ропота. Перехватил пистолет за дуло и занес над головой отца.

– Стальной пружиной Конец. Все равно! – мелькнуло у того в голове. прыгнув на мучителя, он сбил его с ног и стал душить. Только усилием нескольких человек удалось разжать окостеневшие на офицерской шее пальцы. Затем – офицера в лазарет, а отца под арест. До суда.

Мы с отцом особенными храбрецами никогда не были, но если нас пытались низвести до степени скотины, в нас восставал Человек, и, защищая свое право оставаться им, мы порой лягались как ослы.

Весть о случившемся мать получила в тот же день. В нашем уездном городке существовала подпольная группа большевиков, с которой была связана моя мама. Среди заданий, которые она получала от местного комитета, основное место занимало распространение листовок среди солдат. Листовки она проносила в казармы в корзине, заполненной в три этажа: на самом дне – листовки, второй этаж – самогон. Сверху все это засыпалось по сезону – семечками, ранней черешней или ядреной осенней антоновкой.

Как она ухитрялась с таким опасным грузом проникать в казармы и ни разу не попасться – непостижимо.

Был канун Февральской революции. Война всем осточертела, дисциплина в армии разваливалась, ослабел надзор за солдатами, потому, может быть, и удавалось матери проникать в казармы и, под видом продажи яблок, снабжать солдат самогоном. А когда те, увлекшись дележкой этого пойла, переставали обращать на нее внимание, она потихоньку рассовывала листовки под солдатские одеяла.

Наверно, в утробе матери я так пропиталась самогонным духом, что в детстве этот запах будоражил меня как кот валерьянка.

Конечно, ничего возвышенного не было в первом ее действии, исключаящем второе. Но что поделаешь Так было. Самогон давал возможность кормить детей и отвозить кое-какие передачи отцу до отправки на фронт. Во всяком случае, те, кто давал ей листовки, знали о «трех этажах», но помалкивали.

Вот к этим-то людям и бросилась мать за советом и помощью, когда ею была получена страшная весть. Товарищи мигом собрали довольно крупную сумму денег, снабдили письмом в Губернский комитет партии и адресом. И вечером она уже сидела с детьми на палубе парохода, отправлявшегося в Чернигов.

...Тихо шлепает по реке пароход, вырываясь из тумана. Пассажиры дремлют, пожевываясь от сырого речного ветра. Откуда-то запахло гарью.

Вот один принохивающийся нос высунулся из поднятого воротника, другой. Вот уже беспокойно зашевелились все. Откуда-то снизу вырвался огромный клуб дыма, и речной туман пронзил отчаянный рев сирены. Пожар! Пожар на пароходе!

Самое страшное – это паника при таких происшествиях. Но на этот раз паники не получилось. Не успела людей покинуть оторопь, на минуту сковавшая всех, как, вклинившись в затухающий вой сирены, раздался спокойный, сильный голос:

— Господа, соблюдайте спокойствие! Берег близко. Сейчас причалим и начнем высадку. А пока – мужчины, ко мне!

И такая уверенная сила была в этом голосе, рассказывала мама, что все оживились. И когда из кают стали выскакивать внезапно разбуженные, очумелые от страха пассажиры, на палубе их уже встречала организованная из матросов и добровольцев команда. Они разводили всех по местам: женщин с детьми и прочую слабосилку – в сторону, подальше от огня, а мужчинам вручали ведра, и они по цепочке стали заливать огонь. Пожар смеялся над этими ведерными плевками, тем более что ведер было мало.

Мать с малышами на руках стояла зажата в толпе. Закрыв глаза и стиснув зубы, она молилась: «Господи, только бы не начались роды!»

Я не стала доставлять ей такой неприятности и, хотя зрелище было, вероятно, захватывающее, осталась на месте до своего часа.

Но за пожаром наблюдали два круглых глаза двухлетнего брата. Наблюдали, чтобы никогда не забыть. И запомнил он этот пожар настолько, что несколько лет подряд его самой любимой игрой был «пожар на пароходе». Пока в одном таком «пожаре» чуть не сгорели и он сам, и мы с сестренкой. Тогда, после крепкой трепки, потирая разрумяненные материнской рукой мягкие места, он оставил «пароходное дело», как он сам выразился...

...Наконец пристали к берегу. Пассажиров высадили, а вскоре подошло какое-то суденышко, которое подобрало всех и к утру доставило в Чернигов. Но и в тёплой гостиничной постели зубы у матери не переставали выбивать дробь, а руки – трястись.

Не знаю, какими путями удалось осуществить побег. Отец об этом помалкивал, даже когда можно было говорить свободно. А мама на все вопросы отвечала: «Люди помогли». Наверное, все же стыдно быть дезертиром даже из царской армии, хотя бежал он не от армии, а от расстрела.

Через несколько дней после неудачно спетого гимна он был спрятан у товарищей, а спустя некоторое время водворен на печь в нашей хатенке на отшибе городка.

(После моего ареста его, как рассказывал брат, «стукнуло в голову». Прочитав в газете сообщение о заключении с гитлеровской Германией договора о ненападении, он на работе, в небольшом кругу товарищей заявил: «Сталин и Гитлер – одна шайка». И тут же сам испугался, ушёл домой, залез на печь и прятался там целую неделю. Хорошо, что в артели, где он работал, не оказалось предателей.)

Однажды в наш дом забрел местный городской. Мама в это время, сидя на кровати, кормила меня грудью. От испуга у матери, должно быть, свернулось молоко, потому что я залилась пронзительным писком. И очень кстати.

Отец простыл во время своего побега на крестьянском возу. К тому же он не выпускал изо рта самокрутки, отчего сильно кашлял. В любую, самую неподходящую минуту, на него мог напасть приступ кашля. Поэтому мама не стала унимать мой крик.

Городской хмуро прошелся по комнате, затем, потерев свой черный пушистый ус, смущенно заговорил:

— По мне пусть хоть Сонька, я не хочу знать, где прячется твой мужик. век на печи просидит. Но есть шептуны. Один, два человека знают, значит, и я узнал. Пока не поздно, убери ты его куда-нибудь подальше. Сегодня я еще ничего не знаю, а завтра — заставят узнать. Такая моя служба, трясця ей в печенку!

Вот такой был в нашем местечке городской!

Через полчаса на печи состоялся семейный совет. Было решено ехать в Херсон.

Херсон. 1921 год.

До сих пор рассказ велся со слов участников событий, то есть – отца и матери.

Теперь я уже стою на собственных ногах, мне пятый год, и я самостоятельно мыслю, наблюдаю, запоминаю. Прислушиваясь к разговорам, я делаю вывод, что можно верить не всем и не всему. Моему брату я верю только наполовину. Когда он говорит, что ночью у луны вырастают длинные руки и она ими залезает в незанавешенные окна – я верю. И в лунные ночи, если мама забывает завесить окно, мы с сестрой просыпаемся и поднимаем дикий вой.

А когда он рассказывает, что «когда-то давно» на свете были пирожные с кремом, которые он не любил, и были без крема – их он мог съесть хоть сто штук, и еще были конфеты «карамель» и шоколадные бомбошки, я не верю ему. Но выражать недоверие к рассказам брата опасно. Можно получить щелчок в макушку

или подзатыльник, а я не люблю, когда меня бьют, даже в шутку. И вообще, если вранье доставляет ему удовольствие – пусть себе врет на здоровье.

Зато маме я верю во всем, верю каждому ее слову. Она никогда не говорит о пирожных и о шоколадных конфетах. По ее словам, самое вкусное – это ржаной хлеб с постным маслом. Я тоже люблю ржаной хлеб с постным маслом. Все мы любим.

Мама рассказывает нам всякие правдивые истории, например об Аврааме, Исааке, Иакове, Иосифе Прекрасном и его братьях. Рассказывает так живо и подробно, будто это было вчера и она присутствовала при всех событиях. И когда она ведет нас мимо еврейского кладбища в детский сад, я требую, чтобы она показала нам могилу Рахили. И она показывает на одно из мраморных надгробий среди ровных рядов могил.

Из маминих рассказов я делаю ошеломляющий вывод: оказывается, Египет – это не что иное, как наша наполовину немецкая, наполовину еврейская колония. Здесь тоже, после лет изобилия, наступают годы засухи и голода. И хлеб, и вода здесь тоже в руках у богатых колонистов, а всякие пришельцы, если у них нет золота и серебра, могут спокойно лечь и протянуть ноги.

Изобилие было в прошлом году. Тогда у нас стояло несколько жестяных банок с постным маслом: отец работал на маслобойке и ему платили натурой – маслом и макухой. Каждый день у нас варилась мамалыга, ее ели с пахтой или молоком. Арбузы и дыни были настолько «ни почем», что ими был завален целый угол в одной из наших двух комнат. В этой комнате, кроме сложенной железной кровати, ничего не было. Эта кровать и была «пароходом», на котором брат устраивал «пожар».

Теперь никаких арбузов и дынь здесь нет. На полу разбросаны охапки соломы, на них вповалку лежат тифозные красноармейцы. Их подбирают на полустанке наши родители вместе с заведующим детским садом. Это единственный в мире мужчина, не исключая даже отца, у которого я могу уснуть на руках так же доверчиво и спокойно, как на руках у мамы.

В большой комнате, где стоит кое-какая мебель, тоже лежат тифозные. Теперь к ним прибавились отец и брат.

У брата, на мой взгляд, тиф начался смешно и весело. Набегавшись за день, он в сумерки пришел домой, уселся на своей постели на полу и стал сосредоточенно, ленту за лентой, срывать с себя рубашку... Когда мама прикрикнула на него, он, не поднимая головы и не открывая глаз, пробормотал:

— Потому что керосин...

Отец тоже заболел незаурядно.

Накануне в поселке случился пожар. Тушить было нечем. Была засуха, в единственном общественном колодце вода высохла до самого дна. Была еще криница с водой горькой, как полынь, но и там ее было мало. Еще была вода у богатых колонистов, ее привозили издалека на волах. Бассейны, где хозяева хранили воду, были заперты на огромные замки. Конечно, никто бы не посягнул на

эту воду для тушения пожара. Потому люди беспомощно стояли и смотрели на огонь, пожиравший хатенку какого-то бедняка.

Вдруг в толпе раздался крик:

— Там ребенок!..

Даже если бы там и был ребенок, то в почти догорающей хате от него уже ничего не осталось бы. Но мозг отца был уже, по-видимому, затуманен тифозным жаром, поэтому он, подстегнутый отчаянным криком, бросился в огонь, как пловец бросается в воду.

Но тут вслед за ним бросился отец ребенка, которого он еще в начале пожара вынес из хаты, и вытащил незадачливого спасателя из огня. Отец был без сознания, но, к счастью, не успел сильно обжечься. Всю ночь он, в горячечном бреду, тушил пожар, бросался в огонь и пугал нас диким ревом.

Мама, уже сама в полубредовом состоянии, и заведующий детским садом (из-за эпидемии сад был закрыт) одни оставались на ногах и, как могли, ухаживали за больными. Только нас с сестренкой никакой тиф не брал.

Не помню, что мы тогда ели, были ли голодны, но томительную жажду помню хорошо.

Иногда какой-нибудь хозяин забывал повесить замок на бассейн. Мы потихоньку подкрадывались к нему, и привязанной за бечевку кружкой пытались зачерпнуть воду. Не помню, чтобы нам хоть раз это удалось. Показывался хозяин с хворостиной, и приходилось улепетывать со всех ног. Напивались мы только, когда заведующий детсадом приносил ведро воды, реквизированной для больных.

Однажды к нам в поселок залетели гайдамаки. «Погуляв» по поселку и вырезав несколько семейств, они добрались и до нашей хаты.

Помню, что я проснулась от страшного стука в дверь. Мы всей семьей лежали на полу. Даже мама, обычно спавшая с новорожденным ребенком на кровати, теперь лежала вместе с нами, одной рукой прижимая маленького, другой – меня. Никто не поднялся на стук. Насколько все оцепенели от страха, я поняла много времени спустя. А в ту минуту лично я, кроме удивления и любопытства, ничего не испытывала.

Дверь сорвалась с петель, и в комнату ввалились детины, похожие на великанов-клоунов. Смушковые шапки со шлыками, синие жупаны, шаровары с лампасами даже насмешили меня. Я подумала, что это ряженые пришли позабавить нас. А когда один из громил с протянутым в нашу сторону наганом весело крикнул:

– захихикала, за что Почему не открывали, жидовские морды! – я даже получила под одеялом от матери здоровый тумак в бок, который заставил меня притихнуть.

— Мы не можем встать, — еле шевеля губами, сказала мать. — Здесь все тифозные.

Перед моими глазами, будто поднятые вихрем, взметнулись полы синих жупанов, и в одно мгновение громилы исчезли, как исчезает дурной сон.

Никто не засмеялся, не заплакал, не заговорил. И никто не поднялся, чтобы закрыть сорванную дверь.

Немного поудивлявшись про себя, я в ту ночь крепко уснула, так и не разделив страха своих близких. Но вот что странно: сотни других ночей на многие годы были для меня отравлены одним и тем же жутким сновидением. С каждым разом оно становилось все страшнее. В снах мне все больше открывалась настоящая истина о людях, показавшихся мне наяву веселыми ряжеными. Я видела продолжение их страшного набега. Видела себя в какой-то темной камерке с зарешеченным окошечком. Гайдамака с кривой саблей, поднятой над моей головой. Черная монашка у окна читает отходную из черного молитвенника, а за окошком, как языки пламени, мелькают красные шлыки...

Голод лишил нас всех пожитков. Все, что можно было выменять на хлеб, мамалыгу или кувшин кислого молока, исчезало из дома. Пережив трудную зиму, весну и лето, мои родители, как только отец поднялся на ноги, решили ехать домой.

Долгой и трудной была дорога на родину. Помню открытые платформы, на которых нас поливало дождем. Долгие дни ожидания на вокзалах. Вши, потоки вшей на цементных полах залов ожидания. От них шевелились бумажки, брошенные на пол. Теплушки. Обжигающий босые ноги холод заиндевевших перронов.

И наконец – мы дома.

Собственно, никакого дома у нас не было. При помощи дальних родственников мы поместились в каком-то подвале – бывшей пекарне.

Была здесь огромная печь, крепкие железные запоры на входной двери и зарешеченные окна. А под полом жили крысы. Их было так много, что нечего было и думать о борьбе с ними. Кошек они не боялись, сами на них нападали. И мама решила заключить с ними мирное соглашение. В кухне одна половица поднималась, и возле нее мама насыпала отруби. Во всю длину половицы высывались крысиные мордочки и поедали угощение. Дошло до того, что, услышав мамин голос на кухне, они выглядывали из щели и поднимали требовательный писк. И не было случая, чтобы они лезли куда не надо, пока не вышел запас отрубей. Тогда они так обнаглели, что пришлось объявить им беспощадную войну.

Отец искал работу. Ее и в больших городах почти не было, а в нашем местечке и подавно.

Забота о нашем пропитании легла на плечи матери. Она устроила маленькую красильню, где солдатская бязь или домотканина превращалась в яркий кумач и густо-синий «куб». Платили натурой: кружкой маковой макухи, мешочком фасоли или лесных орехов, куском баранины.

В местечке было несколько домов, принадлежавших «бывшим» – бежавшим за границу или расстрелянным во время «красного террора». Отцу предложили взяться за переоборудование этих домов в учреждения. При осмотре помещений он пришел в ужас. Почти в каждом доме были библиотеки, хранившие, наряду со всякой дребеденью, ценнейшие собрания книг.

Классика мировой и отечественной литературы, антикварные рукописи вперемешку с дешевым чтивом приказчиков и кухарок грудями валялись на полу. Крысы грызли корешки тисненых золотом переплетов. «Подходящие» (по качеству бумаги) книги шли на обертку селедки, потому что «долгой писателей старого мира! даешь новых, нашенских пролетарских писателей!».

Отец взялся за ремонт домов. Только вместо платы он попросил отдать ему гибнущие книги, на что хозяева города охотно согласились, даже похвалили «за бескорыстие» и пообещали вдобавок к этой «макулатуре» подкинуть немного пшена и воблы.

Так в наш дом вошли книги. И не вошли, а въехали на подводах, заполнив все углы и стены двух пустых комнат подвала. Мне так приспичило поскорей узнать, что написано в книгах с картинками, на которых изображена жизнь, совсем не похожая на нашу, что я и сама не заметила, как научилась читать.

Отец на радостях отобрал для меня с десятков книг из детской «Золотой библиотеки», спасенных от участи селедочной обертки.

Марк Твен, Диккенс, Свифт, графиня де Сегюр, Барнет... Толщина книг вначале пугала, и я начала читать свою первую книгу с конца. Это был первый том трилогии графини де Сегюр – «Сонины проказы». Когда я добралась до начала, я уже бегло читала. Так начался мой первый в жизни запой.

В то лето на местечко налетали «зеленые». Они прятались в обширных лесах Полесья. Налетали по ночам и до третьих петухов колобродили, как новобранцы.

Как-то ночью отец засиделся за работой. За столом, стоявшим на середине комнаты, он переплетал книги. А я, при свете его восьмилинейной керосиновой лампы, читала. Вдруг с улицы донеслись голоса, свист. В дверь застучали и, так как никто не подумал открыть, даже попробовали ее на крепость. Но дверь была окована железом. Затем голоса переместились к окнам. Отец невозмутимо продолжал работать, а я, не выпуская из рук книжки, сползла под стол. Чувствуя себя в безопасности у отцовских ног, я взглянула на окна, в которые с улицы заглядывали мужские лица.

В ближнее окно смотрело совсем еще юное лицо. Оно улыбалось, сверкая красивыми белыми зубами, и настолько простодушным и человечьим показалось мне лицо парня, что и на этот раз я забыла испугаться. Даже когда, с обязательной «жидовской мордой», он спросил:

— Ты чего не открываешь, га Да я ж стрелять буду!..

Вместо ответа отец взял какую-то книгу и стал громко читать. Он даже подошел к окну, чтобы стоящим за ним было лучше слышно. Я не помню, какая это была книга, но бандиты сгрудились у окна и стали слушать, иногда прерывая

чтение громким хохотом. Когда отец кончил читать, белозубый парень отвалился от окна, позвал товарищей, и вскоре их свист и смех замерли где-то вдаль.

А утром мы узнали, что той ночью был убит председатель исполкома Шелудько. Но несмотря на это, несмотря на гайдамаков и страшные сны, этот белозубый улыбчивый хлопец остался где-то в стороне, непричастным к моим страхам и убийству человека, которого с таким почетом хоронили на следующий день.

Брат и сестра записались в школу. Меня не приняли – мне еще не исполнилось семи лет. Но первого сентября, когда они пошли на свой первый урок, я увязалась за ними, вошла в класс и уселась за парту с твердым намерением дать себя выбросить только через мой труп. Получился скандал, в котором поражение потерпела учительница. Ни уговоры, ни применение легкой силы не помогли.

Мне было шесть с половиной лет. Кроме того, я была настолько мала и заморена, что, вероятно, казалась учительнице чуть ли не грудным младенцем, и в группе я ей была ни к чему. Попытавшись оторвать от парты мои пальцы, она в конце концов оставила меня в покое, сказав:

— Ну и сиди, пока не надоест!

Но мне не надоело. Я хорошо читала, считала, кажется, до ста, и пришлось меня записать в школу официально. Но походила я до первых морозов. А когда меня, как замороженного воробья, поднял на улице прохожий и принес домой, меня засунули на печь до весны, как семенную луковицу.

(Глазами далёкого детства я с завистью смотрю на нарядную, тёплую одежду теперешних детей)

Весной я сдала экзамен во вторую группу. И так до четвертого класса. Училась до морозов, а зима – в кашле, в жару, обложенная книгами и нагретыми вьюшками. В дни относительного здоровья – с утра до вечера за переплетным станком.

Мои руки были заняты растрепанными книгами, а голова – мечтами. Диапазон наших стремлений и мечтаний был тогда весьма ограниченным. Мы ничего не знали о самолетах, потому не мечтали быть летчиками. Даже обычный грузовик был для нас чудом. Профессия шофера казалась нам доступной только избранным, какой теперешним детям кажется космонавтика. К интеллигентным профессиям мы испытывали легкое презрение, а произнесенное вразяжку слово «интеллигенция» было похоже на брань.

Мои мечты не шли дальше рабочего станка, любого, только не кустарного, а где-нибудь на большом заводе (об этом тогда мечтала почти вся молодежь). В двенадцать лет я даже пыталась поступить в фабзавуч, в котором никакого «фабзавучения» не было, а просто учили делать табуретки. Но меня не приняли, чем я не долго была огорчена, потому что табуретки были слишком прозаическим делом. Оно смахивало опять-таки на провинциальную кустарщину. А мне нужен был большой завод с дымящимися трубами или тайга с глубоким снегом и лесоповалом (я такое видела однажды в кино). Или уж, как предел мечтаний, – какая-нибудь экспедиция, все равно куда – в Арктику или в Африку.

Почти все это я потом испытала до тошноты. И тайгу с лесоповалом, и арктический холод (хорошо, что в СССР нет Африки). И вообще все, что у нас в юности шло под кличем «Даешь!», мне было дано, но как удар по морде.

В 1931 году, почти не посещая школы, я сдала экзамены за семилетку. В том же году в нашем райцентре открылась типография, и отец устроил меня ученицей в наборный цех.

Боже, как я вначале радовалась своей работе! Как гордо и важно шествовала с работы домой в красной косынке, с испачканным краской носом! Пусть все видят, что я – рабочая, частица диктатуры пролетариата.

В те годы из Кремля дождем сыпались директивы, указы, законы, постановления. Целыми днями набирая тексты, я получала первые уроки политграмоты. И не только политграмоты, Я узнала, откуда берутся дети. Да. Набирая директиву о случке лошадей.

1932–1933 годы. Жизнь становилась все труднее. По улицам бродили лошадиные скелеты, обтянутые коростявой шкурой. Не имея, чем кормить, крестьяне подбрасывали их в другие села или в райцентр, как котят или щенят. У крестьян, которые не хотели вступать в колхоз, забирали подчистую весь хлеб, картошку, даже фасоль. Часто в поисках хлеба разваливали печи, а то и хаты.

В 1933 году кулаков уже не было, единоличников тоже не оставалось. Теперь «раскулачивали» колхозников.

Планы хлебопоставок спускались не только для колхозов, но и для самих колхозников, хотя не было уже у них земли, кроме маленьких приусадебных участков. Твердых, единых планов не существовало. Выполнит колхоз основной план, на него тут же накладывают «встречный».

«Встречный» – это один из образцов преступной лжи, черным пятном запачкавший то страшное время. Это вроде сами колхозы и колхозники, недовольные «маленькими» планами, сами накладывают на себя планы сдачи хлеба до последнего зерна. Будто это не «хлеб наш насущный», а шоколадные конфеты, без которых можно прекрасно обойтись. И исполнители этой лжи шастали по хатам, забирали все, что попадалось на глаза, даже последнюю буханку хлеба пополам с корой или лебедой. Выгребали семенное зерно из колхозных закромов. На слово «нема» они отвечали: «Нема такого слова! Ты ж шось жерешь, а з государством подилыться не хочешь!»

И пошла холера бесхолерная – голод косит людей...

Все ли об этом помнят? Не знаю. Не слышала.

Сестра моей подруги, девочка пятнадцати лет, «слюбилась» с милиционером. Конечно, это была не любовь, а стремление спастись от голода. В шестнадцать лет она родила девочку, и муж отправил ее в дальнее село к своему отцу – сельскому попу.

Через год она вернулась к матери. Родителей ее мужа выслали, а Дуню отпустили на все четыре стороны, так как брак ее не был зарегистрирован из-за ее

несовершеннолетия. Ей не позволили взять ни куска хлеба, ни единой тряпки. Одеяльце, в которое был завернут ребенок, один из активистов взял за край, выкатил из него ребенка на оголенную кровать и бросил в общую кучу вещей, отнятых у семьи.

К своей беде привыкаешь, как к хронической болезни, а чужая порой потрясает до слез.

Нет, не Дунина беда потрясла меня. Оставив ребенка у матери, она ушла из дому искать более надежное счастье. Отец умер, семья погибала с голоду. Мать, если ей удавалось что-нибудь достать, стремилась накормить своих детей, а внучку, чтоб скорей умерла, не кормила вовсе.

Верочка превратилась в скелетик, обтянутый желтой, покрытой белесоватым пухом кожей.

Целыми днями лежала она в кроватке, не закрывая глаз. Они на ее трупном личике блестели как стеклянные пуговицы. И не умирала. Губки, которые еще не научились говорить «мама», шептали: «Исси!» — просили есть.

Из всей нашей семьи я одна получала паек: 30 фунтов муки в месяц. Немало для одного человека, но недостаточно для семьи из семи человек. Муку растягивали недели на две. Варили мучную болтушку, заправляли щавель и лебеду. Но часто и эта жалкая похлебка вставала колом в горле: за окном выстраивалась толпа голодающих из южных районов, и душу выворачивал настойчивый жалобный стон: «Тетя, дай!»

Из своей порции, если у нас дома была какая-нибудь еда, я часть уделяла Верочке. Вцепившись цыплячьими лапками в мисочку, она мигом проглатывала содержимое, потом пальцем показывала на окно. Моя подруга выносила ее на солнышко и сажала на траву. Она сразу падала на животик и желтыми, старушечьими пальчиками начинала щипать траву и жадно запихивать ее в рот.

Это был железный ребенок!

Многих и многих детей и взрослых выкосила эта травяная диета, а она себе жила, дожила до лучших времен и превратилась в прелестную девчущку.

(Наблюдая потом лагерных пеллагриков, я вспоминала Верочку на траве, в которой ее младенческий разум угадал средство насыщения.)

Набирая букву за буквой, я думала над текстом наборов, вникала в их смысл.

«Выкачка хлеба», «Встречный план». Какие будничные в ту пору слова. Но какое ужасное содержание несли они в себе.

«Встречный план» – это не успевшие подняться на ноги и тут же разоренные колхозы. «Выкачка хлеба» – это толпы голодающих, кочующих с места на место в поисках пищи. Это сотни опустевших сел. Это трупы на улицах, брошенные дети, горы голых скелетов на больничных повозках, которые, не потрудившись чем-нибудь накрыть, везли на кладбище и, как мусор, сваливали в общую яму.

Возвращаясь с работы домой, я всегда старалась идти не центральной улицей, что было ближе, а огородами, мимо кладбища, чтобы меньше встречаться с голодными глазами людей. Однажды у кладбищенской ограды я увидела мальчика лет шести. Зеленое опухшее лицо сочилось какой-то жидкостью из трещин на коже. Такой же жидкостью сочились опухшие, растрескавшиеся ноги. По ногам из-под домотканых штанов текла, по-видимому, только что съеденная трава. Атрофированный желудок не смог ее хоть сколько-нибудь переварить.

Мальчик стоял неподвижно. Из полуоткрытого рта у него вырывалось тоненькое «и... и... и...». Он не просил и не ждал помощи ни от кого. Он видел, как взрослые люди, обязанные не уничтожать, а защищать его детство, приходили и отнимали у его семьи последний кусок, обрекая ее на голодную смерть. Люди были врагами, и он их боялся. Поэтому он ничего не искал на людных улицах, а пришел к кладбищенской ограде, может быть, в надежде найти что-нибудь съедобное, а нашел смерть.

(А как обстоят дела с детской слезой, которой не стоят все блага мира?)

У Николая Островского ничего нет о ТАКИХ мальчиках и девчочках тридцатых годов. Этот Юный Барабанщик Революции, глядя высоко и далеко, видел легионы марширующих энтузиастов. Они заслоняли перед ним ПРОСТО ЛЮДЕЙ, которых, если бы и захотел, так не мог увидеть своими, в ту пору уже незрячими глазами.

Злая сила, при полном сознании и твердой памяти, планомерно и беспощадно выбрасывала из жизни тысячи и тысячи безымянных мальчиков и девочек вместе с их родителями, и если уж говорить о героизме народа в те годы, то Верочка и мальчик с кладбища и неисчислимое число других мальчиков и девочек тоже были героями, только они не знали об этом. Они умирали как выброшенные коряги, не жалуясь и не моля о пощаде, потому что знали: тот, кто отнял у них хлеб, – беспощаден и жесток, и из-за его железной спины ни одна добрая рука не протянется для их спасения.

А они тоже хотели, чтобы над ними всегда было солнце и небо, чтоб «всегда была мама» и чтоб «всегда были мы». И чтобы был хлеб. Хоть какой-нибудь, хоть пополам с древесной корой, но только хлеб.

А хлеб, отобранный у детей!.. Не знаю, помог ли он индустриализации в те годы мирового кризиса, когда и хлеб богатых стран не находил рынков сбыта и его топили в море. Вряд ли. Он гнил на элеваторах, и вместо того, чтобы хоть часть его вернуть народу, открыли вселенскую винокурню и стали поить водкой тех, кто еще мог пить и у кого было на что пить.

Красное Солнышко не хотело быть в глазах народа Страшным Букой. Оно понимало, что слишком перегнуло палку и наломало дров больше, чем нужно. Так что ж было делать? Бить себя в грудь и каяться? Самому с себя снять ореол Отца Народа и просить милости и прощенья у этого полузадушенного народа?

Ну нет, дудки! Нужно сделать так, чтобы и Отцом и благодетелем остаться, да ещё и приобрести горячую любовь, восхищение и преданность своих, больно выпоротых, детей.

Поэтому и появилась знаменитая статья – «Головокружение от успехов», где с больной головы все валилось на малоумные, то есть – на местные власти. А ведь те без указаний свыше идохнуть не смели, а получив директиву, старались, как дурак на молитве. Только лбы расшибали не свои, а чужие.

Никто, от сельского до республиканского руководства, пикнуть не смел без команды Вождя. А эти команды, скатываясь с верхушки, встречали на своем пути навозные кучи угодничества и карьеризма, обрастали многократными «встречными» и «поперечными», которые довели сельское хозяйство до разорения, а сотни тысяч людей до голодной смерти. И, не спохватись наше Солнышко, страна бы превратилась в пустыню и по ней, почёсывая затылки, бродили бы только голодные энтузиасты и активисты.

И вдруг, хотя новый урожай ещё не поспел – да почти и нечему было поспевать: во многих областях и районах остались незасеянными или плохо засеянными, – откуда что взялось!

В 1934 году, как манна небесная, появились хлеб, масло и другие продукты. Отменили налоги (ещё бы! «Встречными» их забрали на пять лет вперёд). Появилось море разливанное вино и водок, горы копчения и соления, каскады ликующих песен и сначала ручейки, а затем моря и океаны словословия, на которых стальной молох вознёсся выше Эвереста и, удобно устроившись, стал пожирать своих подданных при помощи самих же подданных, уверяя при этом, что живётся им теперь хорошо и весело. «Жить стало лучше, жить стало веселей!»

Конечно, не мое было пороссячье дело осуждать вождей и гениев. Я и не осуждала. Но о том, что творилось у меня на глазах, я, с наивной верой в ненаказуемость Правды, говорила открыто и запросто.

К тому времени я уже перешла работать в редакцию.

Дело в том, что корректорами и литработниками работали у нас люди случайные, не очень хорошо знакомые с грамматикой и орфографией (в вузах тогда учились «на живую нитку»). Переводы с русского на украинский делались коряво, и я, стоя у наборной кассы, расставляла по местам знаки препинания, убирала грамматические и стилистические шероховатости, чего я совсем не имела права делать, исправляла переводы и сама написала пару довольно удачных для уровня нашей газетенки фельетонов.

И когда очередной корректор-литработник, математик по специальности, ушел работать в школу, редактор взял меня в редакцию, откуда я потихоньку, сама того не зная, зашагала навстречу своей беде.

Я не хочу вспоминать своих тогдашних сотрудников ни плохим, ни хорошим словом. Мир их старости, если они живы, а если их уже нет – мир их праху. Но уж лучше бы мне до конца жизни стоять за наборной кассой, чем познать мелочную зависть людей к чужому успеху.

Редактор похвалил и пустил в печать без поправок мои фельетоны, а сочинительские потуги двух сотрудников редакции разбранил, и я нажила парочку врагов в лице ребят, с которыми вместе читала «Как закалялась сталь» и пела «Нас утро встречает прохладой».

Заведующий типографией:

— Я двадцать пять лет стою за кассой, а не удостоился чести перейти на чистую работу, а девчонка и двух лет не проработала, и пожалуйста – стала «интеллигенцией»!

Машиниста я несколько раз ловила на традиционной типографской шутке: переставлял буквы в наборе, из-за чего слова приобретали опасно шутовской смысл, за что я с ним однажды крепко сцепилась.

И самый главный враг – мой собственный язык.

Тридцать пятый – тридцать шестой год. Год относительной сытости и ликующих песен. Потрясающее всех убийство Кирова. И волна Большого террора. И волны нарастающего благоговения и любви к Вождю. А затем – развенчивание героев гражданской войны, революции и первых лет советской власти, и их гибель.

Было чем потрясаться и над чем подумать.

Герои нашего детства! Они не жалели жизни, проливали кровь за советскую власть – и вдруг, на пороге ее расцвета, стали ее врагами.

Сомнения шевелились у меня в голове, еще недостаточно оболваненной словословием. Их я выкладывала старшим, редактору. Никто мне ничего не мог сказать, только советовали помалкивать. Другие говорили; «У нас зря никого не судят!»

Как-то скучно, неприятно стало в редакции. Угнетала ложь. Ложь на каждом шагу. Пошлют взять интервью у какого-нибудь старого партизана или ударника полей. Он говорит одно, а писать нужно совсем другое, такое, что и голова этих простых людей не сварит: по шаблону барабанного патриотизма. А я считала ложь в печати недопустимой, постыдной.

Многое во мне тогда было девчоночьего, детского. Я ведь ещё недалеко и ушла от детства. Что нравилось, в то и верила. Например, я поверила в индуистское учение о «карме», переселении душ. И мой детский страх испарился, как роса на солнышке. Между прочим, эта вера не угасла во мне до сих пор. Позже, уже в заключении, я эту свою буддийскую веру выразила выразила в следующих, уже теперь наполовину позабытых стихах:

Я хочу умереть, и нет страха в душе  
И в глазах перед смертью грядущей.  
Не покоя ищу я в таинственном сне  
Под снегами в могиле зовущей.  
Я хочу умереть, чтоб дать волю душе  
Улететь из постыдного тела,  
Чтобы снова проснуться живой на земле  
И дожить, что теперь не успела.

Летом 1937 года в районе началась какая-то чертовщина. Полетела районная верхушка, в том числе мой редактор, которого я глубоко уважала. Невмоготу мне

стало жить дома. А тут появился в печати призыв Валентины Хетагуровой. Она призывала девушек ехать на Дальний Восток. Я решила ехать. Я не хотела только читать о великих стройках, я сама хотела строить.

(А там, оказывается, нужно было помогать военным строить семьи, что было делом непростым из-за нехватки девушек.)

Ни уговоры родных, ни слезы матери не помогали. Я стала ходить в НКВД за пропуском. В нашем местечке я знала всех, но однажды в кабинете начальника я увидела двух незнакомых энкаведешников.

Домой я больше не вернулась.

Вот так. К другим приходили ночью и забирали тепленькими с постели, а я пришла сама.

Все, что завертелось вокруг меня с того злополучного дня – 14 августа 1937 года, казалось сном. И, как во сне, я не столько переживала случившееся, сколько как бы со стороны наблюдала за всем, что происходит со мной.

Я, как и многие люди моей судьбы, не верила, что меня будут держать долго. И в то же время я понимала, что жизнь моя безвозвратно загублена. По обывательскому представлению даже краткое пребывание в тюрьме накладывает на человека вечное пятно позора. И все же я с любопытством ждала, что будет дальше. Но после близкого знакомства с следователем, когда я узнала, чего от меня хотят, детское любопытство сменилось вполне взрослым чувством обреченности и отчаяния.

Первый вход в камеру.

К моему удивлению, камера оказалась светлой и чистой. Шесть кроватей, покрытых старыми байковыми одеялами. Шесть женских лиц, шесть пар глаз смотрели на меня.

Вслед за мной внесли еще одну кровать и постель. Дверь захлопнулась, и я осталась стоять на пороге, не зная, как повести себя.

Женщины, как радушные хозяйки, постелили мне постель, дали умыться, предложили поесть.

От еды я отказалась. Вторые сутки у меня не было ни крошки во рту, мысль о еде вызывала отвращение.

Кто они? За что сидят? Я среди них выгляжу пигалицей, малолеткой. Что, например, сделала вон та важная дама с седой прядью в русых волосах? Лежа на койке, она курит самокрутку и спокойно поглядывает на меня из-под припухших, как у китайки, век. Это, наверно, идейная троцкистка. Или вон та, с длинными косами, в которых блестят серебряные нити, хотя лицо ее очень молодо.

Наверно, у всех есть какие-нибудь грехи, потому что сидят они, по-видимому, давно: лица бледные, одутловатые.

Я среди них – белая ворона. Ведь я ничего плохого не сделала и скоро уйду из этой камеры.

— За что тебя?

Что им сказать? Если я скажу «не знаю» – они не поверят. Исчезнет теплота, дружелюбие и участие, с какими они встретили меня. А я в этом так нуждалась. Они скажут: «Ни за что не сажают!» — и с презрением отвернутся от меня как от лгуны. Значит, чтобы стать равноправной в этой компании добрых преступниц, нужно что-нибудь придумать.

— Я – диверсантка, — скромно сказала я.

— Какую же диверсию ты совершила?

— Поджог.

Странно! Вместо того чтобы броситься ко мне с распростертыми объятиями, женщины отошли и занялись какими-то своими делами и разговорами, не обращая на меня больше никакого внимания.

Я была обескуражена.

Я очень устала за прошедшие сутки, и когда раздался сигнал отбоя и женщины стали укладываться спать, я тоже легла. Но не прошло и пяти минут, как за мной пришли, посадили в «черный ворон» и повезли к следователю.

Это был тот самый следователь, который задержал меня. Очевидно, выловленную им рыбу он потрошил сам.

В общих чертах я уже знала, чего от меня хотят. Еще там, в районном отделении, он спрашивал об отношениях с редактором, говорил о «преступной связи с этим украинским националистом и шовинистом». Я была поражена: наш редактор – националист и шовинист?!

Почему же он брал меня под защиту от глупых нападок мальчишек-инструкторов, от хулигана машиниста и от пройдохи заведующего?

Почему в трудные годы талоны в закрытый распределитель на ботинки и брюки он отдал моему отцу, а сам летом ходил босиком? Он добрый человек, а добрые не могут быть преступниками. Он самый честный, самый чистый человек, какого я знаю. Какой дурак мог наговорить, что он националист, шовинист?

— Расскажите об организации, в которой вы состояли вместе с редактором. Назовите фамилии членов этой организации.

Чудак этот следователь! Я ему втолковываю, что в нашем местечке нет и не может быть никаких таких организаций. Слишком у нас все буднично. Простые люди думают о заработке, начальство – о планах. Все обожают Сталина и осуждают врагов народа. Откуда же взяться враждебной организации? А он не

верит и в двадцатый раз задает одни и те же вопросы, пока ему самому не надоело и не захотелось пойти поужинать.

Сегодня на допросе появилось новое:

— Говорили вы, что встречные планы разоряют колхозы?

— Да, говорила. Но ведь это правда!

— Вы брали на себя смелость судить партию?

— Но ведь это же не партия творила, а какие-то отдельные люди.

— Вы слишком молоды, чтобы своим умом дойти до таких рассуждений. Кто вам внушил их?

— Никто. Это мои собственные умозаключения.

— Против кого вы собирались заниматься террором?

— Если бы я и состояла в какой-нибудь организации, то только не в террористической. Я и жука не раздавлю.

— Вот показания вашей подруги: «В 1935 году она собиралась украсть у редактора револьвер и заниматься террором...»

— Интересно! Я состою с редактором в одной организации и собираюсь украсть у него револьвер! Он же мог сам мне его дать. И почему, если она такая патриотка, она не рассказала об этом тогда же, в тридцать пятом году?

— Мы учли это. Она арестована за недонесение.

— Можно мне ее увидеть?

— В свое время мы предоставим вам такую возможность. А теперь расскажите...

И все начинается сначала.

Я устала, хотела спать, но он не отпускал. Только когда окна посветлели, и с улицы стал доноситься шум наступающего утра, он вызвал конвоира и отправил меня в тюрьму.

Как только я вошла в камеру, прозвучал горн. Подъем. Женщины вскакивали с постелей, оправляли одеяла с мьльницами и зубными щетками в руках садились на кровати в ожидании. Я легла, собираясь уснуть, но меня тут же растолкали:

— На оправку!

— Не хочу.

— Потом не пустят.

Нехотя встала и поплелась за другими в уборную.

К завтраку я не притронулась. Зачем в тюрьме есть? Нужно скорей дойти до истощения и умереть.

Снова попыталась прилечь, но меня подняли на поверку. Старший надзиратель объяснил, что днем в тюрьме спать не положено, и даже прислоняться к стене и закрывать глаза тоже нельзя.

— Но меня всю ночь держали на допросе!

— Это нас не касается.

Несмотря на запрет, я снова легла, не обращая внимания на стук надзирателя в волчок. А когда в обед я не приняла миски с супом, он оставил меня в покое, и я немного поспала.

После ужина – опять на допрос. И так – целую неделю. В голове у меня гудело, хотелось упасть на паркет и спать, спать, спать. В памяти всплыл рассказ Чехова «Спать хочется». Нянька задушила ребенка, который не давал ей спать. Может быть, задушить следователя? Я чуть не расхохоталась. Вот дура! Какой бред лезет в голову...

— Как вы дошли до жизни такой? — зевая, задавал следователь стереотипный чекистский вопрос.

— С вашей помощью,— отвечала я, тоже зевая. Когда я поняла, что мне не хотят верить, расхотелось их убеждать. Я или молчала, или отвечала какой-нибудь шуткой, или, глядя в сторону, зевала.

— Кто у тебя следователь, как его фамилия? — спросила меня однажды одна из сокамерниц.

— Ржавский.

— Ну и как? Сильно кричит?

— Нет, совсем не кричит. Только задает глупые вопросы. Кажется, он интеллигентный человек, только служба собачья.

— Хорош интеллигент! — с горечью сказала женщина.— Меня он таким матом обкладывал – сроду такого и не слышала...

И, отходя, пробормотала:

— Хорошо, у кого есть хоть какое-то преступление.

Я покраснела.

— Послушайте,— сказала я однажды следователю, с трудом разлепляя воспаленные от бессонницы веки.— Мне уже все надоело. Напишите что угодно. Но чтобы это касалось лично меня. А если будет затронут хоть один человек – даром время потеряете.

— А мы никуда не спешим, времени у нас хватает...

Моя личность их мало интересовала. На мне нельзя было нажать ни чести, ни славы. Им было приказано собезьянничать «Большой процесс» областного масштаба, и требовались имена «идейных руководителей».

Выдерживать бессонные ночи у следователя и бездельные дни в камере помогало мне крайнее напряжение нервов. Я знала, что дай я им волю на одну минуту – и я закачусь в позорной истерике.

В камере я жульничала: дремала то сидя, то положив голову на подушку. Но всякий раз вскакивала при стуке надзирателя в волчок. В конце концов, я обзлилась. Когда однажды к подъему меня привели в камеру, я сразу плюхнулась на койку, и ни оправка, ни завтрак, ни проверка не смогли заставить меня подняться. Я спала каменным сном до полудня. В полдень в тюрьму явилось какое-то высокое начальство. Меня с трудом растолкали, но, узнав, в чем дело, я опять легла. И вот начальство в камере. Я лежала, повернувшись лицом к стенке.

Задав обычные вопросы: «На что жалуетесь?» — и получив заверение, что «все хорошо», начальство обратило внимание на меня.

— А эта почему не встает?

— Она больна,— попытался кто-то робко выгородить меня.

— Если больна, должна лежать в больнице.

— Я не больна,— сказала я, чуть приподнявшись.— Мне уже целую неделю не дают спать.

Через час за мной пришли и отвели в карцер.

Карцер больше соответствовал моему представлению о тюрьме, чем наша большая, светлая камера. Маленькая каморка в подвале, с низким сводчатым потолком, с зарешеченным оконцем без стекла и низеньким лежаком, привинченным к цементному полу.

Я улеглась на лежак и сразу уснула.

Ночью я проснулась от страшного холода. Я пришла в тюрьму в ситцевой блузке, сатиновой юбке и туфлях на босу ногу. Других вещей у меня не было. И тут-то я почувствовала, «жаба тити дает». Этот первый тюремный холод я никогда не забуду. Я просто не умею, не в состоянии его описать. Меня морил сон и будил холод. Я вскакивала, бегала по камере, на ходу засыпая, ложилась и опять вскакивала.

Утром принесли хлеб и воду. Я отказалась принять это. Когда надзиратель, невзирая на мой отказ, поставил кружку и положил хлеб на лежак, я выбросила хлеб в окно, а водой сполоснула лицо и руки.

И на второй, и на третий день я делала то же самое. На третий день в обед мне принесли миску густого, наваристого супу и ломоть белого хлеба. Я ничего не приняла.

— Ах, дурочка, дурочка! — проворчал надзиратель. Пришел корпусной с врачом, и меня спросили, чего я добиваюсь.

Я заявила, что не буду принимать пищи до тех пор, пока мне не разрешат читать книги или, в крайнем случае, шить или вышивать. Они переглянулись и вышли из камеры.

А через минуту вошел пожилой надзиратель, присутствовавший при разговоре, и положил на лежак махорочную закрутку.

— Закури, легче станет!

До этого я никогда курить не пробовала. Не знала, как и зачем это нужно – курить. Я думала, что дым заглывают в желудок, что казалось мне отвратительным. Но чтобы сделать приятное доброму человеку, я готова была проглотить хоть тряпку. И я стала глотать дым. Он волнами заходил у меня в животе, закружилась голова, затошнило, и вместе с тем появилось какое-то блаженное состояние забытья и покоя.

По-прежнему отказываясь от пищи, я стала просить у этого надзирателя закурить, когда он дежурил. Думая, очевидно, что я блатнячка и курю с пеленок, он не отказывал.

Так в моей жизни появился второй «запой».

Я голодала десять суток. Принимала только воду. Есть не хотелось. Во мне была такая легкость, что казалось – при желании я могу взлететь. Я превратилась в хворостину и до сих пор не понимаю, откуда брались у меня силы двигаться.

Меня навещали врач с корпусным. Я встречала их с высоко поднятой нечесаной головой. (У меня отобрали гребешок, и волосы превратились в паклю.) Только холод мучил по-прежнему. Но он не убил меня, а только разозлил ещё больше. Я жаждала мести своим следователям, и наконец придумала, как отомстить.

На утренней поверке я заявила корпусному, что решила во всем сознаться, и попросила дать мне побольше бумаги и карандаш.

Мне немедленно принесли требуемое, и я взялась за работу – стала строчить во что горазд и что попало. Я написала, что действительно состояла в организации и была в ней секретарем и казначеем; что «у нас» есть подпольная типография; что вместе с крупной суммой валюты, полученной из-за границы, она хранится в выгребной яме от недавно снесенной уборной возле старой синагоги; что там же находятся списки всех членов организации. Что всё это нужно забрать не мешкая,

пока не начались осенние дожди, которые могут затечь в яму и испортить документы и деньги.

И отправила свое сочинение следователю.

В полдень меня вызвали. В кабинете следователя находилось ещё человек пять. Все были одеты по-дорожному.

Я вызвал вас затем. Чтобы уточнить место нахождения ямы, — сказал следователь — И, может быть, вы сейчас назовёте хоть несколько фамилий.

— Нет. Фамилии вы узнаете из списков.

И подробно описала место нахождения ямы. Я была несколько разочарована: я надеялась, что меня возьмут с собой, и мне удастся повидаться с кем-нибудь из своих. Хотелось увидеть маму.

Меня отпустили, а поздно вечером снова вызвали к следователю. Он был в кабинете один. Он не предложил мне сесть, как обычно, и я осталась стоять у порога. Я нахально выпучила глаза, ожидая увидеть в его взгляде ярость, но в нём дрожал смех

— Зачем обманула? — спросил он.

Так вас же правда не устраивает.

Мне было немного жаль, что обмануть пришлось именно его. Правда, он не давал мне спать, но не кричал и не ругался на допросах и даже однажды сказал, что будь его воля, он давно отправил бы меня домой.

Правдв, одна моя сокамерница, следствие которой он вёл, говорила, что он умеет матюкаться как грузчик, и даже раз ударил её.

Я тогда ещё не знала, что вежливость и грубость – методы, приёмы их работы. За короткое время изучив своего «клиента», они знали, или думали, что знают, на кого лучше действует ласка, а на кого – таска.

Мой следователь понимал, что ударь он меня или обругай нецензурным словом – я начну кусаться или разобью себе голову о стенку. Ведь в моих глазах он был всё же советским следователем, а не махновцем. Потребовались годы и жестокая школа, пока в моём сознании не стёрлась эта грань.

Больше он меня допрашивать не стал.

Утром на одиннадцатые сутки (вместо пятнадцати) меня выпустили из карцера и отвели в камеру. Женщины – их стало больше – тепло встретили меня, расчесали мою кудлатую голову, заставили поесть... Моя просьба дать закурить почему-то никого не удивила.

На допросы меня больше не вызывали, и я стала знакомиться с тюремной жизнью.

Оказалось, что уборная служит не только местом для оправления естественных потребностей и умывания, но и почтой. Грязная метла в углу служила почтовым ящиком, вытяжная труба – стендом для наглядной агитации.

Как раз в эти дни наш следственный корпус был взбудоражен новостью: камера «шостенцев», то есть работников завода из города Шостки, обвиняемых во вредительстве, объявила голодовку в знак протеста против побоев и пыток на допросах. Накануне во время прогулки кто-то подбросил нам записку с призывом присоединиться к голодовке. Утром мы отказались принять пищу.

На стенах уборной появились нацарапанные призывы: «Жены и сестры, присоединяйтесь к нашему протесту!», «Нас пытаются!», «Иванов и Жуков вербуют врагов народа».

Недолго думая, я сунула «и свое жито в чужое корыто», нацарапала крупными буквами; «Протестуйте против побоев в НКВД!» «НКВД – сталинская опричнина». И очень разборчиво подписалась.

Пониже я написала целый трактат: «При таком понимании коммунизма и таких методах его построения наша страна превратится в необъятный город Глупов с Угрюм-Бурчеевым во главе».

(Права была «Седая прядь» – Ревич-Русецкая: я была неотёсанной «деревушкой», хотя и мнила себя Рылеевым.)

Все мои творения, конечно, списали и доставили следователю. Но в карцер не посадили.

Взвинченность этого дня, вызванная страхом за мужей, призывами и голодовкой, вечером завершилась общей истерикой.

На этом наша голодовка кончилась. Утром женщины стыдливо приняли завтрак.

А так камера у нас была дружная, да и вообще за два года скитаний по тюрьмам я не помню ссор и скандалов в камерах политических.

Мы не только грустили и плакали. Мы занимались самодеятельностью, пересказом прочитанных книг, перестуком с мужскими камерами. Всё это проделывалось на полушёпоте, чтобы не получить нагоняй от надзирателей.

А я стала «рожать» стихи.

Женщины всегда с доброжелательным любопытством ждали «новорождённых», и во время «родов» старались мне не мешать.

У меня появился жуткий аппетит. Истощенный организм требовал пищи, а еда становилась все хуже. Иногда на обед давали просто запаренную ячневую сечку (испортились печи на кухне). В ответ на протесты, постоянно находившийся под мухой завхоз заявлял, что мы не на курорте, что враги народа и такой пищи не заслуживают.

Хорошо, что в лавочке раз в две недели можно было купить сало, сахар, сушки, махорку.

Осенью тридцать седьмого года тюрьма стала быстро наполняться. На окна повесили деревянные козырьки, и камера приобрела сумрачный и печальный вид.

По ночам и на рассвете нас будили страшные крики. Из нашего коридора уже нескольких повели на расстрел. В том числе бывшего председателя райисполкома Реву. Этот высокого роста, грузный человек наводнил грязное местечко цветами, призывал к чистоте и культуре, построил баню, первую в послереволюционной истории местечка.

В ноябре мне принесли обвинительное заключение: хулиганство в тюрьме. Ну, слава богу! С этим можно мириться.

И я стала ждать суда.

А через короткое время в соседнюю камеру стали приводить жен энкаведистов. Почти все местное отделение во главе с начальником Гейтелем было арестовано. Арестован был и мой следователь, и прокурор, подписавший обвинительное заключение.

В январе 37-го года принесли новое обвинительное заключение, подписанное другим прокурором. 58-я, пункты 9-й и 10-й, часть вторая. Эти пункты подлежат суду трибунала, и в марте меня повели в суд.

В комнате, куда меня привели, никого не было. Стоял длинный стол, покрытый зеленым сукном, а почти рядом с креслом, на которое меня усадили, стоял небольшой столик, и на нем лежал какой-то круглый резиновый мешок с отворотом в виде воротника. В камере говорили, что тем, кого ведут на расстрел, одевают на голову резиновый мешок.

У меня затряслись поджилки, потемнело в глазах. Я понимаю – умереть. Но с резиновым мешком на голове – это значит умереть дважды. Туман облепил мой мозг и застлал глаза. Я будто оглохла. И когда вошли судьи (трое, четвертый – секретарь) и приказано было встать, я не сразу поняла, чего от меня хотят.

Это тянулось несколько мгновений. После первого вопроса:

«Расскажите о своей контрреволюционной деятельности» – я пришла в себя.

И опять пошли те же вопросы, что у следователя, по десять раз один и тот же, насмешливое недоверие, подковырки. Мешка для меня больше не существовало, я начала злиться, а злость затемняет рассудок.

Потом, через некоторое время, я поняла, что своими повторными вопросами и насмешками они просто провоцировали меня на эту злость. Они не судили, а развлекались. Иначе, почему из дверей высовывалась улыбающаяся физиономия?

Но они, может быть, не знали, во что может вылиться злость задёргнутой, к тому же заносчивой и глупой девчонки.

Когда я была достаточно накалена и трусливую бледность сменил румянец ярости, были предъявлены мои тюремные творенья, списанные со стен. Было предъявлено обвинение в обмане следственных органов (выгребная яма) и был задан вопрос:

— Зачем вы все это делали?

— Хотела позлить таких дураков, как вы! — брякнула я.

Сказала и поняла, что погибла. Эх, лучше бы я себе язык откусила...

Я взглянула на их покрасневшие лица, на сузившиеся глаза... и села, хотя мне полагалось стоять...

Это был не вызов. Мозг совершенно отключился, исчезла комната и судьба. Когда туман рассеялся, в комнате никого не было. Суд удалился на совещание.

Читая приговор – 15 лет лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях, – член трибунала часто останавливался, чтобы взглянуть на меня. Из дверей выглядывали уже не улыбающиеся лица.

Я слушала приговор равнодушно, как нечто, не имеющее ко мне никакого отношения. Только фраза: «Конфискация имущества» – вызвала у меня улыбку: имущества-то я за свою короткую жизнь не накопила.

На вопрос, есть ли у меня заявления или просьбы, я попросила поскорей отправить меня в лагерь.

Когда я вернулась в камеру и сказала, сколько мне дали, кругом заохали, запричитали, а я равнодушно сказала:

— Человек живет в среднем 75 лет. 15 из 75 – это не очень большой кусочек...

Получивших срок из следственной обычно переводили в камеру осуждённых. Но меня оставили в той же камере, а затем, вместе с другими подследственными, дела которых затягивались, перевели в филиал областной тюрьмы в городок Городню.

В этой тюрьме персонал ещё не успел, очевидно, получить политических «впрыскиваний». Надзиратели были добродушны, любили поболтать у раскрытых дверей. Здесь можно было свободно вышивать и вязать, и они давали нам заказы. За работу приносили нам всё, вплоть до водки.

Здесь на вопрос, почему меня держат в тюрьме, а не отправляют в лагерь, мне ответили, что я считаюсь подследственной.

Через полгода меня снова перевели в областную тюрьму, а оттуда спихнули в большой этап, отправлявшийся неизвестно куда.

В памяти всплывает картина этого первого моего этапа.

Из ворот тюрьмы выплыли огромная, серая толпа, человек в шестьсот, обрамлённая спереди, сзади и с боков шеренгами конвоиров с овчарками на поводках, и среди белого дня, по ярко залитой солнцем центральной улице, поползла по мостовой к вокзалу.

Я украдкой вглядывалась в лица прохожих на тротуарах, надеясь разглядеть на них проблески сочувствия, ужаса, любопытства или хотя бы ненависти. Ничего. Равнодушные лица, прячущиеся взгляды.

Такие этапы проходили по улицам города почти каждый день. Привыкли. Но на вокзале оказалась большая толпа провожающих. Я сный день взорвался криками, рыданиями, мольбами к конвою взять передачу, слезами заключённых.

Запомнился мне мужчина – заключённый. Его никто не пришёл провожать, и, судя по тому, что он ни разу не взглянул на толпу провожающих, он никого не ждал. Не было у него при себе ни узелка, ни мешка. Пустые руки были заложены назад, как на прогулке, голова низко опущена, а по каменно-неподвижному лицу, одна за другой, как из плохо завёрнутого крана, катились, падая на землю, огромные, частые слезины.

Путешествие было недолгим. Нас привезли в Нежин, где всю эту массу людей затолкали в бывшую помещичью усадьбу, превращённую в пересыльную тюрьму. Дом, где когда-то гостил Гоголь, людские, конюшни были превращены в камеры, набитые людьми, как банки с сардинами. Окна были забраны новенькими решётками. Зато никто не позаботился вставить выбитые стёкла, и в камеры несло жутким холодом. Ночью раздавался сплошной хрип и кашель. У меня началось воспаление среднего уха. Боль была невыносимая, я не могла уснуть ни днём ни ночью. И тут у меня произошло первое столкновение с медициной, положившее начало неприязни к медицине вообще.

Утром, во время поверки, моя соседка по постели попросила прислать врача. (Сама я никогда ни о чём не просила.)

Врач появился на следующий день. Это была молодая женщина с румяным лицом и ангельски нежным голоском. Следом шла медсестра, сотворённая из рецидивистки, с изъеденными трахомой веками. Она несла большую бутылку с какой-то противной на вид жидкостью.

Не дав никому рта раскрыть, врач с ходу заявила, что все мы должны выпить по столовой ложке противодизентерийной сыворотки, чтобы предотвратить эпидемию, представляющую угрозу для города.

Пока медсестра обносила женщин сывороткой, соседка попросила врача посмотреть моё ухо и принести какого-нибудь лекарства.

Ответ был отвратительный даже для того времени:

— Здесь не санаторий. Враги народа не особенно должны рассчитывать на лечение!

Я не могла ни есть ни говорить. Малейшее движение челюстями причиняло боль, но слова этой, с позволения сказать «докторши», взорвали меня. И вместе со мной – нарыв в ухе.

А вы, мадам докторша, клятву Гиппократова давали? — спросила я её. — Или Гиппократ сейчас тоже объявлен врагом народа?

Может быть, ещё бабу-знахарку вспомнишь, — буркнула она. — Давай ложку.

Из уха у меня уже текло. Вместе с облегчением ко мне вернулась моя воинственность.

Не буду я пить этой дряни! Раз вы отказываете в лечении, я отказываюсь от вашей профилактики.

Погрозив мне всеми тюремными карами, она удалилась.

Грозила она впустую, карцера на пересидке не было. Почти все камеры были сами по себе похожи на карцер. А вечером малолетняя воровка, убиравшая медпункт, сунула в окно флакончик с перекисью водорода, бинт и вату.

Поздней осенью снова стали собирать этап. Уходила почти вся пересылка. Говорили – на Дальний Восток.

В Киеве, при распределении по вагонам, меня не приняли на этап. Я видела, что начальник эшелона внимательно просматривает мои бумаги и что-то резко говорит сидящим с ним рядом НКВДистам.

Как я потом узнала, приговор не был утверждён. Я считалась подследственной, а таких в этап не брали.

(Теперь всё проще: сунули бы в психушку и – дело с концом.)

И начались мои скитания по тюрьмам. Одиннадцать тюрем за два года. Это значит – новые знакомства, привязанности, разлуки.

В ту пору я очень быстро привязывалась к людям. Несмотря на свой далеко уже не детский возраст, я была дитём, тоскующим по своей маме. И каждое ласковое слово, каждый знак внимания и заботы наполняли меня горячей благодарностью и любовью к людям.

А ещё я тосковала по небу, по деревьям, по земле, покрытой травой. Руки тосковали по работе. По любой – хоть землю копать, хоть мешки таскать, хоть дрова пилить.

(Одно из тягчайших преступлений так называемой воспитательной системы – это превращение самого главного, самого прекрасного и необходимого фактора человеческого существования – труда – в наказание, в пытку, в каторгу.)

После четырёхдневного пребывания в одиннадцатой тюрьме – в Гомеле – меня снова вызвали в этап. И тут я взбунтовалась. Я отказалась идти, пока не скажут,

куда меня везут и когда, согласно приговору, я попаду в лагерь. Мне отказали в моей просьбе, и я объявила голодовку.

Голодала я четыре дня. Всухую, без воды. Теперь уже не было прежней выносливости. К вечеру четвёртого дня я, без задних ног, лежала в жару и прощалась с жизнью, но решила не сдаваться.

На пятый день вызвали прокурора. Он вскрыл пакет с сопроводительными бумагами, и мне объявили, что я направляюсь в Котлас.

До сих пор не пойму одного: меня везли не прямым сообщением, а с пересадками в Орле, Москве, Кирове. Но каждый раз меня сажали в отдельное купе одну, хотя в других отделениях вагона было полно народу – мужчин и женщин.

То ли я считалась крупной преступницей, то ли ненормальной, то ли чёрт знает чем..

В Котласе, выйдя из вагона, я вдохнула такой воздух, каким никогда не дышала и у себя на родине. Настолько он был свеж, чист и прозрачен, что хотелось пить его, как воду. (Теперь, говорят, это один из самых задымленных и грязных городов Севера.)

Огромная зона Котласской пересылки была разгорожена на клетки, как в зоопарке, и, как животные разных видов, в клетках находились люди разных национальностей: в одной – французы, в другой – немцы, в третьей – китайцы, в других – чехи, поляки, японцы и другие. Словом, весь коминтерн был тут. Не видно было только негров.

В клетках стояли бараки – дощатые стены, брезентовые крыши. В один из таких барачков, в советской клетке, завели меня.

Был конец зимы, на дворе еще держался крепкий морозец, но в дощато-брезентовом бараке было тепло. Жарко пылал огонь в железной бочке.

Барак был большой, с двухэтажными нарами и одним окошком в торцовой стене. И народу было много.

На меня никто не обратил внимания, и если бы надзиратель не указал мне место на нарах, я бы так и осталась сидеть на своём вещевом мешке. Я очутилась рядом с тощей и очень злобной старушкой. Сидя на своём матрасе, она сразу выложила, что посадил её собственный сын. Тыча корявым пальцем в разные углы, стала знакомить меня с обитателями барака, снабжая каждого злобной характеристикой.

«Красный» угол у окна занимала «аристократия». Старуха стала называть хорошо известные фамилии. Запомнилась мне дочь Зиновьева, бледная, угрюмо-печальная девушка, неподвижно сидящая на нарах у окна.

Моё личное знакомство с обитательницами барака ограничилось только старухой. Люди здесь менялись каждый день, а знакомиться на ходу мне мешала застенчивость.

На следующий день в барак заглянуло начальство. Я стояла у бочки–печки и почему-то сразу бросилась в глаза одному крупному и толстому начальнику. Он засокрушался моей худобой и бледностью и велел послать меня на работу в кухню «для поправки».

На другой день я уже барахталась в посудомойке в огромной горе грязных кастрюль, противней и сковородок. Мыла котлы и полы, падая от усталости и голода, потому что взять что-нибудь самой я стеснялась, а покормить никто не догадывался.

Недели через две меня перевели на ИТРовскую кухню. Там шеф-повар – грузин сразу догадался, в чём дело, и три раза в день подталкивал к столу, где стояла миска с едой, доступной только высокопоставленным придуркам.

Здесь я впервые столкнулась с предложением «любви до гроба», исходившим от комманданта лагеря. Предложение было не очень настойчивым, но, наслушавшись в тюрьме всяких страстей о принудительном сожителстве в лагерях, я была здорово напугана и отвергла домогательство новоявленного поклонника с пылом и жаром, не соответствовавшим его настойчивости.

На пересылке я пробыла полтора месяца. В середине мая вместе с соседкой – старушкой и десятком интеллигентных старичков меня направили в Коряжму. Они еле плелись от зоны до машины, в которой нас должны были везти. Особенно отставал один, в прошлом адвокат. Согнувшись пополам, он прижимал к животу небольшой узелок с вещами и, коротко дыша, спотыкаясь, плёлся к машине, причём, как ни старался, отстал от всех шага на полтора. И тут произошло то, из-за чего я мерзавца не могу назвать собакой из боязни оскорбить собачий род.

Конвоир, мальчишка, у которого еще недавно сопли через губу висели, подскочил к старику и с размаху ударил прикладом в спину. Тот покачнулся, но удержался на ногах. Даже не оглянувшись, с тем же, покорно ушедшим в свою боль, отрешенным выражением лица, тем же заплетающимся шагом дошел до машины, куда мы помогли ему взобраться.

А конвоир даже не покраснел, ни от стыда, ни от злости. Так, будто в стенку гвоздь заколотил, и остался доволен хорошо сделанной работой.

Старик умер через три дня. Говорили, что он был крупный ученый–юрист. Фамилии его я не запомнила.

В Коряжме я задержалась недолго. Недели через две, уже в смешанном этапе, то есть вместе с бытовиками, меня отправили на трассу. Пешком через тайгу.

Нас встретили щелястые бараки, нары из круглых жердей, удобные, как голгофа, особенно при отсутствии матрасов. Пол тоже из жердей, немного выровненный слоем грязи. Отвратительная баланда из сечки, приправленная постным маслом. И – первый день работы.

Прибыли мы вечером. Вместо полагавшегося послезападного отдыха, нас на второй день распределили по бригадам и отправили очищать трассу от сучьев и завала.

Сперва мне работа даже понравилась. Ничего страшного! Бери бревно или сук себе по силе и тащи в сторону от трассы в кучу. А кругом – сосны и ели, солнце и трава, птицы и бабочки.

Только вот беда; для такой работы нужны шаровары и ботинки, а их нам никто не дал. На мне были домашние парусиновые туфли на босу ногу и легкое платьице. К вечеру кожа на руках и ногах покрылась глубокими кровавыми царапинами. А тут ещё ласковое северное солнышко поджарило раны так, что к вечеру я с трудом добралась до барака.

На следующий день была уже «настоящая» работа. Нас погнали в болото снимать растительный слой.

Этот слой, толщиной в полметра, пропитанный гнилой болотной водой, лопатами резали на куски и на носилках, где по щиколотку, а где по колено в воде, несли метров за сорок – пятьдесят в сторону.

Я оказалась в паре с седовласой, очень худой женщиной. С выпученными глазами (один глаз у неё косил и потому взгляд казался безумным). Задыхаясь, она торопливо накладывала на носилки целую гору торфяника и, спотыкаясь и падая, тащила носилки за передние ручки, а я спотыкалась следом за ней. Руки у меня отрывались от непосильной тяжести, болели вчерашние ссадины, которые за ночь не подсохли, наоборот – покраснели и загноились.

Накануне вечером я зашла в амбулаторию за йодом. Разглядывая царапины на моих ногах, врач сказал:

— Это точно членовредительство.

— Конечно,— ответила я. — Попробуйте в таком буреломе поработать в парусиновых тапочках и ничего не повредить.

— Зачем вы так надрыгаетесь?— спросила я у своей напарницы в обеденный перерыв.— Ведь так мы не дотянем до вечера.

— На днях на разводе,— сказала она,— начальник объявил, что ударники получают досрочное освобождение. А я – коммунистка. Хотя меня и так долго держать не будут. Я здесь по ошибке, и партия разберется...— Помолчав, она добавила: — Если бы партия приказала мне ехать сюда добровольно, разве я бы не поехала? Только сына взяла бы с собой.

В тот же день на трассе побывал начальник лагпункта Малахов. В лагере он прославился как человек жестокий и беспощадный. Особенно ненавидели его блатные, они дали ему кличку Комар.

Посыпались робкие просьбы. Просили ботинки, брюки, рукавицы. Он молчал, шурил один глаз, из-за чего лицо казалось перекошенным, и смотрел поверх голов направо и налево, оценивая сделанную работу. Наконец он процедил:

— Ботинок и брюк – нет. Рукавиц – тоже нет. Через три дня этот участок должен быть закончен. Через двенадцать дней здесь уже будет насыпь. — И, повернувшись к нам спиной, пошел к другим бригадам.

К концу дня моя горевшая энтузиазмом напарница стала выдыхаться. Все меньше кусков торфяника ложилось на носилки, сильнее становилась одышка. Мне было не лучше. Туфли раскисли и падали с ног, пришлось привязать их веревочками. Ладони покрылись мокрыми волдырями, а на душе закипала злость.

Конечно, я мечтала о великих стройках, и, конечно, я бы тоже поехала сюда добровольно. Но одно дело работать, будучи свободным человеком, иметь возможность раз в год съездить в отпуск домой, на свой заработок купить сапоги, перчатки, кусок сала, газету; другое дело быть невольницей, превращать вековую топь в города и посёлки, в поля и железные дороги, получать за свой труд гнилую сечку и голые нары, а в перспективе – цинга и сравненная с землёй безвестная могила.

Для чего и для кого жилы рвать? Завтра мне будет не во что обуться, а босиком идти в тайгу – всё равно что ходить по доске, утыканной гвоздями. В конце концов, можно терпеть и голод и голые нары, но это если ты ходишь хозяином по земле. Но если ты – навоз, на котором, кто имеет силу и наглость, выращивает свою власть, благополучие и мощь? Так нет же, дудки! Не дамся!...Конечно, страшно стать отказницей.

Страшно сидеть в яме по колени в воде. Такой здесь карцер. Страшно, что могут за ноги поволоочь из зоны в таёжное болото. Я видала: так на моих глазах поступали с другими. Но так, по крайней мере, с этой паскудной жизнью будет скорей покончено.

Но...страх страхом, а есть ещё стыд. Стыд перед другими. Перед Рахилью Самойловной. Она, пуча свои косые глаза от напряжения, будет безропотно тонуть в болоте с тяжеленными носилками. А в короткие перекуры, поглаживая покрытые язвами икры, думать о своём сыне, встречу с которым приближает её тяжёлый труд. Почему она может, а я с первого дня оказалась такой кислятиной.

По-моему, дело в вере. Верующие всегда сильнее. Они лишены сомнений. На голос истины они закрывают уши, а на очевидное – глаза.

Такие вот Рахили Самойловны ничего не знали, например, о строителях Беломорканала. Тех (кто уцелел) освобождали, кого досрочно, а кого по завершении срока, а потом... Требовалось ещё много каналов, шахт и железных дорог. Испытанные в лишениях, умелые и, главное, почти бесплатные рабочие руки (дорого стоила только охрана и руководство стройки) нужны были на новых стройках. И судьба большинства беломорканалцев была решена легко и просто: придумав новую статью «Изоляция», бывших строителей Беломорканала стали водворять обратно в лагерь.

В тюрьме я познакомилась с такой беломорканаловкой Наташей Успенской. Ещё в заключении она сошлась с одним из начальников строительства, Успенским (его поминает Солженицын в «Архипелаге»). Родила близнецов. После её освобождения они зарегистрировались, но счастье было недолгим. За три дня до рождения третьего ребёнка её взяли из отцовского дома, куда она приехала на лето, и, без предъявления какого-либо обвинения, посадили в тюрьму, где она родила своего Митю.

(Наташа реабилитирована. При реабилитации оказалось, что, даже для видимости, никакого дела ей не потрудились слепить. Просто так: отбыл человек в лагере десять лет и – кушай на здоровье.)

У меня не оставалось никакой веры. Ни в бога, ни в чёрта, ни в гуманизм, ни в справедливость.

Ха! Гуманизм!

Молотов сказал: «Москва слезам не верит!» В своих уютных резиденциях они решили, что слёзы детей, матерей и отцов – крокодильи слёзы, а у крокодилов полезна только шкура. Для них людские слёзы и кровь – только водица и больше ничего.

О том, что человечья шкура гораздо дешевле крокодильей, мне ещё не раз предстояло убедиться.

Промучившись всю ночь сомненьями и ломотой в каждой косточке, утром я не вышла на развод. Через полчаса после развода нарядчик повел меня к начальнику в какую-то каморку возле кухни.

На вопрос, почему не вышла на работу, я ответила:

— Потому что меня не предупредили, чтоб я из дому захватила сапоги. И еще потому, что ваши нормы для меня непосильны.

— А для других посильны?

— И для других непосильны.

— Вы смеете утверждать, что государственные нормы нереальны?

— Может быть, и реальны для откормленного силача, а для нас, заключённых доходяг, – нереальны.

— Вы знаете, что у нас для отказчиков есть карцер? Очень плохой карцер. Яма с водой. Вы там через три дня загноётесь

— А мне все равно погибать, так уж лучше поскорей. По крайней мере без пользы для вас.

Он с отвращением посмотрел на меня( а может быть, мне показалось из-за прищуренного глаза?) и коротко приказал:

— Отведите в карцер!

Комендант взмахом руки показал мне на выход, и, хлопая оторванной подошвой тапочки, я пошла за комендантом к месту казни.

Из каморки выскочил нарядчик и позвал коменданта обратно. Через пять минут он вернулся и повёл меня дальше.

Я была ошарашена, когда вместо карцера нарядчик привел меня в портняжную, где возле кучи рванья сидело несколько стариков и старух и ковыряли иголками лохмотья, нашивая заплаты на рубахи, кальсоны, брюки и рукавицы.

Вот, начальник прислал ещё одного работника, — обратился комендант к полной женщине в очках. — Дай ей работу, а я пошёл.

Чувство невыразимого унижения охватило меня. От этого жеста презрительного снисхождения мне стало тошно. Но корчить из себя героиню я не собиралась. Дают передышку – бери и скажи спасибо. Я молча села и принялась накладывать заплату на рваные кальсоны.

Кажется, на второй или на третий день моей работы в портняжной, вечером, придя в барак, я услышала новость: Малахова переводят на новый участок вместе с рабочими, которых он будет отбирать для себя сам.

Доходяги, больные и вообще люди, неугодные ему, останутся здесь. Лагпункт превращается в сангородок. Сюда будут привозить пришедших в негодность зеков.

И каждый молил бога, чтобы Малахов забраковал его, не взял с собой на новую каторгу. Даже я, помилованная им, вздохнула с облегчением: меня-то он, конечно, не возьмёт. Зачем я ему?

На следующий день после ужина все население лагеря, кроме лежащих больных, было построено на площадках возле бараков. Из вахты вышел Малахов, в сопровождении коменданта и нарядчика с формулярами, и начался отбор.

Взмахом руки Малахов сортировал людей: «своих» – направо, остающихся – налево.

Отобрав мужчин – человек двести, он подошел к женскому строю. Мы, около сорока женщин, ждали своей участи. И опять: взмах руки – направо, взмах руки – налево.

Дойдя до меня, он, даже не взглянув, махнул рукой – и я очутилась на правой стороне.

Вот те на! Даже комендант был озадачен.

У отобранных в уход нарядчик спрашивал фамилию и откладывал формуляр в папку. Формуляры оставшихся передавал коменданту.

Перед отбоем по баракам были зачитаны списки уходящих, было приказано собирать вещи. И утром. После завтрака, с чемоданами и узлами этап был построен за воротами зоны.

Из вахты вышел Малахов и обратился к заключённым приблизительно стакой речью:

Идти придётся таёжной целиной около ста километров, через бурелом и валежник, через густые заросли подлеска, где топором придётся прорубать дорогу.

Лошадям с подводами не пройти. Поэтому предупреждаю: кто не в состоянии нести своё барахло, пусть заранее бросает его здесь, во избежание излишней траты сил. Потому что в тайге всё равно придётся его побросать. Привалов не будет. Утром нужно быть на месте. Всё!

С «Комаром» не поспоришь, хотя от этой речи несло дичью. Лагерь не мог в ту пору обеспечить заключённых ни постелью, ни самой необходимой одеждой и обувью(слишком велик был набор). А тут – бросай такие нужные, жизненно необходимые вещи, которые невозможно будет потом приобрести.

В этапе было немало рецидивистов. Они-то знали, что это не пустое запугивание. Но бросить вещи просто так, чтобы ими кто-то попользовался?

Раздался треск раздавленных чемоданов, полетели клочья ватных одеял и перья разорванных подушек. Через пять минут площадь возле зоны превратилась в свалку утиля, и рецидивисты, засунув под мышку завернутые в полотенца пайки хлеба и в карманы кисеты с табаком, были готовы в путь.

Но неискушенные политические всё же решили рискнуть. Им то без вещей, особенно без постели, – гибель. Рецидивисты легко наживали вещи, отнимая их у других, а политическим взять негде. И, взвалив свои чемоданы и узлы на плечи, политические решили до последнего вздоха не расставаться с ними.

Взвалила свой узел на плечи и я.

Милые домашние вещи! Зимнее пальто, служившее мне и одеслом, бельё, простыни, – всё, чего касались руки моей мамы, всё, что напоминает о доме. Подушечка из гагачьего пуха, её мне подарила в тюрьме жена командира. Нет, лучше упасть мёртвой под этим узлом, чем расстаться хотя бы с одной вещичкой!

Начальник не преувеличивал. Километра за два то зоны этап втянулся в густую тайгу. Впереди шли, часто сменяясь, четыре человека с топорами и прорубали дорогу. Этап растянулся цепочкой, и нас стали обгонять конные охранники.

Женщины шли позади. И я, обливаясь потом под своим узлом, стала отставать и скоро оказалась последней в цепочке.

На тропинке появились брошенные узлы и чемоданы. Истощённые, усталые люди всё же решили расстаться с ними, чтобы хоть себя донести живыми. А тут ещё день был такой знойный.

У меня сердце заходило от усталости, ноги стали заплетаться. Надо бросить вещи... Вот ещё один шаг сделаю. И ещё один...Всё! Сейчас брошу...

И вдруг мне стало легко. Кто-то сзади снял с меня узел. Я оглянулась и увидела охранника, который нёс его назад, а там, дальше, медленно двигались лошади с подводами, и бесконвойные придурки вместе с охранниками укладывали на них вещи, подобранные на тропе.

Это был один из методов психологического воздействия Малахова. Уже и так немалые трудности он преувеличил до почти невыносимых. Зато небольшое

облегчение казалось настоящим избавлением от всех бед. Ну. И была тут своеобразная месть рецидивистам, которых он хорошо знал и ненавидел.

Преувеличил он и расстояние до нового лагпункта. Сто километров – такой дороги мы бы в три дня не одолели, а пришли мы туда и вправду на следующее утро.

Заночевали мы на огромной поляне у реки, через которую нам утром предстояло переправиться на лодках.

Первая ночёвка в тайге у костров! Юность ещё не позволила беде убить во мне романтику. С каким наслаждением дожёвывала я свою пайку, лёжа у костра в кругу трёх или четырёх женщин! Остальные разбрелись по мужским кострам. С каким восторгом прислушивалась к шороху тайги, к шуму порожиистой реки. Смотрела на звёзды, мерцающие сквозь кроны огромных пихт.

И как сладко и безмятежно спала я в ту ночь, в окружении изголодавшихся мужчин, под защитой детской уверенности в своей неприкосновенности и нескольких охранников, дремавших у костров.

Мы проснулись рано от утренней свежести и голода. Почему-то только одна женщина или девушка, бывшая трактористка, до невозможности глупая и крикливая, осталась лежать, скорчившись у потухшего костра, явно притворяясь глубоко спящей.

Женщины шушукались, поглядывая на неё с каким-то злорадным испугом.

Уже после того, как мы переправились через реку и, построившись в колонну, зашагали по широкой просеке. Женщина, шедшая рядом со мной, шепнула, что ночью трактористка попала под «трамвай».

Я знала. Что в тайге трамваев нет. И догадалась, что это что-то очень плохое. Ночью я слышала хихиканье у костра рецидивистов, но и подумать не могла, что в такой чистой, первозданной красоте таёжной ночи возможно необузданное пакостное преступление.

(Бедная девушка! Сама того не ведая, в своей животной похоти и по глупости, она, может быть, своим крупным телом защитила мой крепкий и доверчивый сон и сон моих подруг от набега двуногих похотливых скотов. Это мне пришлось в голову сейчас, а тогда я, жалея её, осуждала.)

...Новый лагпункт отличался от старого тем, что действительно был новенький, с иголочки.

Наспех построенные щелястые бараки сочлились живицей. Кругом торчали невыкорчеванные пни. Валялась щепа, мусор.

Отдохнуть не дали. Не успели поесть наспех сваренной бурды, как всех погнали на уборку территории. А вечером нарядчик зачитал списки бригад и обслуги. Я для себя ничего хорошего не ждала, но как же я была изумлена, когда услышала, что меня определили на селектор телефонисткой! Самая легкая, самая чистая, самая-рассамая что ни на есть «придурочная» работа!

Селектор помещался на вахте. По утрам, сидя за аппаратом, я видела процедуру развода.

Большинство заключенных болело цингой, несмотря на разгар лета. Пища с каждым днем становилась хуже. Из рациона исчезли рыба, сахар. Мяса мы вообще не видели и в прежнем лагере, где подвоз всё же был лучше, а здесь и подавно. Часто по три дня и хлеба не бывало. Дважды в день литр жидкой сечки на первое и пол-литра густой – на второе.

На ногах появлялись твердые на ощупь, багровые пятна, вскоре превращавшиеся в гнойные язвы. Многие по утрам не могли подняться с нар, и коменданты тащили их к вахте, как кули с картошкой, подталкивая пинками. За вахтой некоторые, сделав над собой усилие, поднимались и вставали в строй, а другие так и оставались лежать на земле кучкой грязных лохмотьев. Тогда появлялась лошадь с трелевочными волокушами, больного привязывали к волокушам и по пням и кочкам волокли до тех пор, пока он или не отдавал богу душу, или не вставал на ноги. Большинство вставало.

Мне было страшно. Страшно и стыдно. Стыдно сидеть на вахте с наушниками на голове, когда другие разбиваются на кочках, из последних сил выдают кубики и изнывают на трассе от усталости, жары и голода. Я знала, что уйду туда, к ним, но все оттягивала уход, как купальщик оттягивает прыжок в холодную воду.

После развода Малахов иногда заходил на вахту и растягивался на топчане выхтёра отдохнуть. И тут оказывался другой Малахов. Заложив руки под голову и полуприкрыв глаза, он что-то добродушно, как усталый отец семейства, рассказывал. Это был уже не «Комар». Кривая гримаса сходила с его лица, и оно становилось обыкновенным, человеческим.

Сидя за своим столиком с наушниками на голове, я исподтишка наблюдала за ним и однажды решилась спросить:

— Как можно вот так с людьми? Они же больные.

Он ответил не сразу. Потом, не открывая глаз, заговорил:

— У нас пока шестьдесят процентов больных. А скоро будет девяносто. Так что ж, трассу из-за этого закрывать? Цингу лежаньем не вылечишь. При цинге нужно больше двигаться.

Что ж! За неимением других лекарств начальство отеческим попечением додумалось до волокуш.

Однажды с пристани позвонили: для нашего лагпункта прибыли мука и тачечные колеса. Что раньше доставить?

— Давайте колеса! — приказал Малахов, хотя хлеб кончился накануне, и работяги в тот день сидели на одной баланде.

И я не выдержала.

— Гражданин начальник, — обратилась я к нему.—Я уже достаточно окрепла и могу пойти на трассу.

— Хорошо,— коротко бросил он и вышел из вахты.

Женщин на лагпункте было немного, всего одна женская бригада, остальные были в обслуге. Поэтому я, не спросив нарядчика, утром следующего дня стояла у ворот в женском строю. Нарядчик молча взглянул на меня, внес в список. Вместе со всеми я вышла на работу на трассу.

Карьер, тачки, лопаты. Истощенные, покрытые цинготными язвами зеки, у которых нет сил выполнить и половины нормы. Палящее солнце, проливные дожди и огромные транспоранты: «На трассе дождя нет!».

Была принята еще одна мера воздействия на невыполняющих норму: из особо отстающих тут же, на трассе, создавались бригады. Их оставляли на трассе, без сна и отдыха, на всю ночь. Менялся только конвой. Нечего и говорить, что это помогало как мертвому припарки. Чуда не происходило, сил у доходяг не прибавлялось, кубиков – тоже. Только по утрам к зоне начали подвозить покойников.

На лагпункт приехала медицинская комиссия. Отобрали целый этап доходяг и отправили на поправку в сангородок. У меня тоже нашли зачатки скорбута, и комиссия рекомендовала включить меня в этап. Малахов не согласился, а перевел учетчицей в тракторную бригаду.

На трассе все шло своим чередом. Работа в зной и в дождь, в морозы и в пургу. Клички «Давай, давай!», скверная похлебка, рваные лохмотья и зеленые лица зеков. Ударная стройка железной дороги, соединяющей страну с ухтинской и воркутинской нефтью и углем.

Время шло. В местах, еще недавно покрытых непроходимой тайгой и болотами, пролегла железная дорога, схоронившая под собой многие тысячи людей. (Под каждой шпалой покойник – арифметика бывалых лагерников.) Вырастали новые города и поселки. В глухих медвежьих деревнях, где на верях ворот и на чердаках торчали языческие деревянные божки для защиты от нечистой силы, где бабы в огородах, завидев на улице незнакомых людей, в ужасе падали на землю, прикрывая головы домотканными холщёвыми подолами, вырастали роскошные клубы с бархатными кулисами и занавесами. На сценах этих клубов заключённые артисты приобщали полудикое население таёжных деревень к цивилизации.

Если бы все было по-доброму, можно было бы и погордиться немного своей работой. Но кто побывал в этом водовороте, не гордятся и не очень-то любят вспоминать свое прошлое. Судя по себе, могу сказать, что это не только желание вычеркнуть из памяти годы мук и лишений, но и чувство стыда.

Такое чувство должна испытывать девушка, обесчещенная и осмеянная любимым человеком.

Да о чём говорить! Лавры великих строек всё равно настоящим строителям не достались.

Я не собираюсь идеализировать всю массу заключенных. Всякие там были, особенно в послевоенном наборе. Были шпионы и предатели, полицаи и просто убийцы. Но мучили одинаково всех – и хороших, и плохих, и правых, и виноватых. Не спорю, к тем, кто совершал в войну кровавые злодеяния, оправдано применение самых суровых мер. Но, как говорит украинская народная поговорка, «чие б скавчало, а твое б мовчало»: в кровавых злодеяниях ежовщина и бериевщина, под руководством шефа, нисколько не отстала от тех, кого карала за преступления против человечности.

Для примера забегу на несколько лет вперед. Кончилась война. Я работала в театрально-эстрадном коллективе в Княж-Погосте. Во время одной из гастрольных поездок нам в Ухте пришлось наблюдать такую картинку.

Мы направлялись в клуб нефтепромысла. Еще издали в глаза бросались слова, начертанные огромными буквами на стене клуба, – это был один из пунктов Конституции:

«ТРУД В СССР ЕСТЬ ДЕЛО ЧЕСТИ, ДЕЛО СЛАВЫ, ДЕЛО ДОБЛЕСТИ И ГЕРОЙСТВА!»

Откуда-то к нам долетали странные звуки. Казалось, что стонет больной великан. Когда мы подошли поближе, то поняли, что это не стон, а протяжное «Эй, ухнем!».

Из-за клуба вывалилась толпа оборванных заключенных. Они были впряжены в лямки, на которых тащили огромные тракторные сани, доверху нагруженные торфяником. Все они были в ручных и ножных кандалах. Это были каторжане.

Перед нами был наглядный урок воплощения светлых слов конституции в тёмную действительность.

Когда говорят о коротких сроках построения социализма в нашей стране, перед глазами возникают фантастические толпы, стада оборванных, желтых, опухших существ особой породы, именуемой зеками.

(Недобрая слава селекционерам – создателям этой породы!)

Вижу бывшего академика, который, получив от розовощёкого конвоира удар прикладом в спину, продолжает, не поднимая потухших глаз, неторопливо шагать в колонне полутрупов к месту работы.

Вижу известного юриста, работы которого и теперь цитируются в специальной литературе, пьющего из ржавой консервной банки жидкую бурду, выпрошенную у какого-нибудь сердобольного повара.

Вижу толстомордого начальника, бьющего по лицу скелетообразного зека за то, что тот неправильно, «жопкой» книзу, бросил картофелину в борозду.

Вижу огромного человека с безумными глазами на опухшем лице, упавшего на поднос с хлебом. Поднос он выбил из рук бригадира котелком дерьма из уборной. Не обращая внимания на пинки, градом сыплющиеся на него, он торопливо и жадно запихивает в рот испоганенный хлеб.

Вижу колхозниц, причитающих над письмами детей, для спасения которых они в голодные годы собирали в поле горсть колосков и получали за это 8–10 лет без права переписки.

Вижу грузовик, круглосуточно курсирующий из зоны сангородка на кладбище. (В грузовике 12 гробов. На кладбище покойников вываливают из «тары» в общую яму и едут в зону за новой партией.)

Ни за понюх табаку гибли люди, из которых можно было создать целую армию.

Человеческое право, достоинство, гордость. Нет, эти понятия не были пустым звуком для наших погонял. Они их боялись. Они были опасны для цели, к которой стремилось самовластие.

Оскотинивание проходило успешно. Заметно было, как зэки впадают в детство. Сны, предрассудки, приметы становились темой оживлённых дебатов среди людей, ещё недавно подвизавшихся в науке и выдвигающих потрясающие научные теории.

Одного только не могли уничтожить селекционеры дьявола: полового влечения. Несмотря на запреты, карцер, голод и унижения, оно жило и процветало гораздо откровенней и непосредственней, чем на свободе.

То, над чем человек на свободе, может быть, сто раз задумался бы, здесь совершалось запросто, как у бродячих кошек.

Нет, это не был разврат публичного дома. Здесь была настоящая, «законная» любовь, с верностью, ревностью, страданиями, болью разлуки и страшной «вершиной любви» – рождением детей.

Прекрасная и страшная штука – инстинкт деторождения.

Прекрасная, когда все условия созданы для принятия в мир нового человека, и ужасная, если еще до своего рождения он обречен на муки, из-за которых, будь на то его воля, отказался бы рождаться.

Но люди с оупевшим рассудком не особенно задумывались над судьбой своего потомства, как не думает об этом курица.

Просто до безумия, до битья головой об стенку, до смерти хотелось любви, нежности, ласки. И хотелось ребенка – существа самого родного и близкого, за которое не жаль было бы отдать жизнь.

Где тот великий врачеватель, который сумел бы не просто выхолостить человека, а убить в нём сам инстинкт деторождения, приблизить юность к строгой, рассудительной, мудрой старости

Я держалась сравнительно долго. Но так нужна, так желанна была родная рука, чтобы можно было хоть слегка на нее опереться в этом многолетнем одиночестве, угнетении и унижении, на которые человек был обречен.

Таких рук было протянуто немало, из них я выбрала не самую лучшую. А результатом была ангелоподобная, с золотыми кудряшками девочка, которую я назвала Элеонорой.

Она родилась не в сангородке, а на отдаленном, глухом лагпункте. Нас было три мамы. Нам выделили небольшую комнатку в бараке. Клопы здесь сыпались с потолка и со стен как песок. Все ночи напролет мы их обирали с детей, защищая маленькие тельца от жгучих укусов.

А днем – на работу, поручив малышей какой-нибудь активированной старушке, которая съедала оставленную детям пищу.

Как я уже говорила, я не верила ни в бога, ни в черта. Но в пору своего материнства я страстно, исступленно хотела, чтобы бог был. Чтобы жаркой, униженной, рабской молитвой было у кого выпросить спасения и счастья для своего дитяти, пусть даже ценой любого наказания и муки для себя.

Целый год я ночами стояла у постельки ребенка, обирала клопов и молилась.

Молилась, чтобы бог продлил мои муки хоть на сто лет, но не разлучал с дочкой. Чтобы, пусть нищей, пусть калеккой, выпустил из заключения вместе с ней. Чтобы я могла, ползая в ногах у людей и выпрашивая подаяние, вырастить и воспитать ее.

Но придуманный мной боженька не откликнулся на мои молитвы. Едва только ребенок стал ходить, едва только я услышала от него первые, ласкающие слух, такие чудесные слова – «мама», «мамыця», как нас в зимнюю стужу, одетых в отрепья, посадили в теплушку и повезли в «мамочный» лагерь, где моя ангелоподобная толстушка с золотыми кудряшками вскоре превратилась в бледненькую тень с синими кругами под глазами и запекшимися губками.

Меня послали на лесоповал. В первый день работы на меня повалилась огромная сухостойна. Я видела, как она падает, но ноги отнялись, и я не могла сдвинуться с места. Рядом торчали корни большого, вывороченного бурей дерева, и я инстинктивно присела за ними. Сосна повалилась почти рядом, не задев ни единым сучочком. Едва только я выбралась из своего укрытия, подбежал бригадир и закричал, что ему растяпы в бригаде не нужны, что он не хочет отвечать за каких-то кретинков. Я равнодушно слушала его брань, а мысли мои были далеки от сосны, чуть меня не убившей, и от лесоповала, и от бригадировой ругани. Они витали у кровати моей тоскующей девочки.

На следующий день меня посадили на мехпилу у самой зоны лагеря.

Целую зиму я сидела на мерзлом чурбаке и нажимала на ручку пилы. Простудила мочевой пузырь, нажила боли в пояснице, но благодарила судьбу: каждый день я могла отнести в группу вязанку дров, за что меня пускали к дочке помимо обычных свиданий. Иногда надзиратели на вахте отбирали мои дрова для себя, причиняя мне огромное горе.

Вид у меня в те времена был самый разнесчастный и забытый. Чтоб не создавать себе излишней возни и не развести вшей (этого добра было тогда в лагерях достаточно), я остриглась наголо, а на такое редкая женщина пошла бы

добровольно. Ватные брюки я снимала, только отправляясь на свидание с дочкой. Во время одного такого свидания я обратила внимание на женщину, одетую несколько не лучше меня, но с броской внешностью. Шапка черных кудрей венчала ее голову. На щеках полыхал яркий румянец. Лицо так и лучилось молодостью и здоровьем. Но глаза, жгуче черные, глядели рассеянно, временами завлакиваясь дымкой, как у дремлющего цыпленка.

Мы разговорились. Оказалось, что она навещает ребенка своей подруги, отправленной на другой лагпункт, присматривает и заботится о нем, как родная мать.

И еще оказалось, что за ее цветущей внешностью прячется недуг, засевший в мозгу со дня ареста. Этот недуг уже не раз упрятывал ее в психлечебницу.

Она говорила с каким-то очень симпатичным акцентом.

Я – чехословачка,— объяснила она.— Никак не привыкну правильно изъясняться.

Давно сошёл румянец с её щёк, поседели и выпрямились волосы, посветлели глаза. Только недуг остался с ней, да ещё привычка страдать за других, о других заботиться и жить горем и радостью близких.

За дровяную взятку няни, у которых в группе были собственные дети, пускали меня к ребенку и рано утром, перед разводом, и иногда в обеденный перерыв, и, конечно, вечером с охапкой дров.

И чего только я там не насмотрелась!

Няньки из преступного мира были там не самыми худшими. Были няни из политических, которые имели там своих детей. Эти были сущим наказанием божьим.

Я видела, как в семь часов утра они делали побудку малышам. Тычками, пинками поднимали их из ненагретых постелей (для «чистоты» детей одеяльцами не укрывали, а набрасывали их поверх кроваток). Толкая детей в спинки кулаками и осыпая грубой бранью, меняли распашонки, подмывали ледяной водой. А малыши даже плакать не смели. Они только кряхтели по-стариковски и – гукали.

Это страшное гуканье целыми днями несло из детских кроваток. Дети, которым полагалось уже сидеть или ползать, лежали на спинках, поджав ножки к животу, и издавали эти странные звуки, похожие на приглушенный голубиный стон.

На группу из семнадцати детей полагалась одна няня. Ей нужно было убирать палату, одевать и мыть детей, кормить их, топить печи, ходить на всякие субботники в зоне и, главное, содержать палату в чистоте. Стараясь облегчить свой труд и выкроить себе немного свободного времени, такая няня «рационализировала», изобретала всякие штуки, чтобы до минимума сократить время, отпущенное на уход за детьми.

Например, кормление, на котором я присутствовала однажды и даже пыталась помочь.

Из кухни няня принесла пылающую жаром кашу. Разложив ее по мисочкам, она выхватила из кровати первого попавшегося ребенка, загнула ему руки назад, привязала их полотенцем к туловищу и стала, как индюка, напихивать горячей кашей, ложку за ложкой, не оставляя ему времени глотать. И это не стеснясь постороннего человека. Значит, такая «рационализация» была узаконена. Так вот почему при сравнительно высокой рождаемости в этом приюте было так много свободных мест. Триста детских смертей в год еще в довоенное время! А сколько их было в войну!

Только своих детей эти няни вечно таскали на руках, кормили как положено, нежно заглядывали им в попки и доростили до свободы.

Была в этом Доме Смерти Младенца и врач Митрикова.

Что-то странное, неприятное было в этой женщине. Суматошные движения, отрывистая речь, бегающие глаза. Она ничего не делала для сокращения смертности среди грудников, занималась ими только тогда, когда они попадали в изолятор. Да и то только для проформы.

И «рационализация» с горячей кашей и одеяльцами поверх кроваток при температуре одиннадцать–двенадцать градусов тепла проводилась, по-видимому, не без ее ведома.

Минутки своих коротких набегов в дом младенца она проводила в группах старших ребят – шести- и семилетних полукретин, которые, по Дарвину, выстояли, выжили, несмотря на горячую кашу, пинки, тычки, ледяные подмывания и долгое сидение на горшках привязанными к стульчикам, отчего многие дети страдали выпадением прямой кишки.

Со старшими ребятами она хоть немного возилась. Не лечила, на это у нее не было ни средств, ни умения, а водила хороводы, разучивала стишки и песенки. И все для того, чтобы «показать товар лицом», когда наступит время определять ребят в детские дома.

Единственно, что приобретали дети в этом доме, были хитрость и пронырливость блатарей–лагерников. Умение обмануть, украсть, избежать наказания.

Еще не зная, что такое Митрикова, я рассказала ей о плохом обращении некоторых нянек с детьми и умоляла ее вмешаться. Она метала громы и молнии, обещала наказать виновных, но все осталось по-прежнему, а моя Лёлька стала таять еще быстрее.

При свиданиях я обнаруживала на ее тельце синяки. Никогда не забуду, как, цепляясь за мою шею, она исхудалой ручонкой показывала на дверь и стонала: «Мамыця, домой!» Она не забывала клоповника, в котором увидела свет и была все время с мамой.

Тоска маленьких детей сильнее и трагичнее тоски взрослого человека.

Знание приходит к ребенку раньше умения. Пока его потребности и желания угадывают любящие глаза и руки, он не сознает своей беспомощности. Но когда эти руки изменяют, отдают чужим, холодным и жестоким, – какой ужас охватывает его и как не хватает ему умения выразить этот ужас.

Ребенок не привыкает, не забывает, а только смиряется, и тогда в его сердечке поселяется тоска, ведущая к болезни и гибели.

Тех, для кого в природе все ясно, все расставлено по местам, может шокировать мое мнение, что животные похожи на детей, и наоборот – дети на животных, которые многое понимают и много страдают, но, не умея говорить, не умеют и просить пощады и милосердия.

Покоряясь неизбежному, дети умирают ещё более стойче, чем Цезари и спартанцы, Космодемьянские и Матросовы.

Маленькая Элеонора, которой был год и три месяца, вскоре почувствовала, что ее мольбы о «доме» – бесполезны. Она перестала тянуться ко мне при встречах, а молча отворачивалась. Закусив губёнки недавно появившимися зубами так, что на подбородок стекали капельки крови, она тихо лежала в своей кровати, ни о чём уже не моля и ничего не желая.

Только в последний день своей жизни, когда я взяла ее на руки (мне было позволено кормить ее грудью), она, глядя расширенными глазами куда-то в сторону, стала слабенькими кулачками колотить меня по лицу, щипать и кусать грудь. А затем показала рукой на кровать.

Вечером, когда я пришла с охапкой дров в группу, кровать ее уже была пуста. Я нашла ее в морге голенькой, среди трупов взрослых лагерников.

В этом мире она прожила всего год и четыре месяца и умерла 3 марта 1944 года.

Я не знаю, где ее могилка. Меня не пустили за зону, чтобы я могла похоронить ее своими руками.

Я очистила от снега крыши двух корпусов дома младенца и заработала три пайки хлеба. Я отдала их, вместе со своими двумя, за гробик и за отдельную могилку. Мой бесконвойный бригадир отвез гробик на кладбище и взамен принес мне оттуда крестообразную еловую веточку, похожую на распятие.

Вот и вся история о том, как я совершила самое тяжкое преступление, единственный раз в жизни став матерью.

Я продолжала ходить на работу, уже не сознавая – легко ли мне или тяжело. Что-то делала, не чувствовала ни голода, ни потребности общения с людьми.

На очередной комиссовке у меня обнаружили дистрофию и дали двухнедельный отпуск, но я не поняла и, еле волоча ноги, продолжала ходить на работу, пока меня однажды с развода не повернул врач.

В это время на меня пришел наряд из ЦОЛПа – Центрального отделения лагпунктов в Княж-Погосте.

Еще находясь с ребенком на «клопином» лагпункте, я участвовала в самодеятельности и там познакомилась с ее руководителем, обаятельным пожилым профессором Гавронским Александром Осиповичем.

Помогая мне готовить роль, он часами беседовал со мной обо всем на свете, а в это время маленькая Элеонора, ползая у его ног, пыталась развязать шнурки на его ботинках.

Из «клоповника» его забрали в ЦОЛП, снабдили еще десятью годами срока и сделали директором новообразованного театрально–эстрадного коллектива (ТЭКО).

Там он вспомнил обо мне, разыскал и добился для меня наряда для перевода в ЦОЛП.

Не мог же он знать, что я уже не та, что вместе со смертью дочери во мне умерло и желание, и умение играть на сцене.

Но в лагере не выбирают. Пришел наряд – и ступай куда ведут. С пустым деревянным чемоданом в руках, в кирзовых сапогах на босу ногу и в старом бушлате пошагала я в августе 1944 года на вокзал так же равнодушно, как ходила в поле или на лесоповал.

В театре Гавронского ко мне так и не вернулись ни любовь к сцене, ни способности к актерской игре. Добрый старик часто вызывал меня к себе, частично для того, чтобы развлечь, а больше ради того, чтобы было перед кем самому послушать свои мысли вслух (он писал какой-то труд). Произносил длинные монологи, читал получасовые лекции, которые текли мимо моего сознания. (Зачем нужна была вся философия мира, если не было у меня больше Лёли?!).

А он, пуская дым из самокрутки, все говорил и говорил, пока мне не начинало казаться, что я вишу головой вниз где-то под потолком, а пол колыхается далеко внизу.

Роли мне дали совсем не подходящие к моему тогдашнему состоянию: каких-то очень положительных, очень жизнерадостных, очень голубых дамочек, благоденствующих офицерских жен в кудряшках. В их существование не верилось даже в конце сорок четвёртого года, когда фронт откатывался от советских границ.

Я не узнавала довоенных героинь в простых платьях и с коротко подстриженными волосами. И декоративный фон, на котором щебетали эти фифули, был тоже непривычный, не советский, а скорее американизированный. (Советский Союз был тогда ещё в хороших отношениях с союзниками. Пели их песенки, перенимали моды. На сцене строили коттеджи, которые вряд ли можно было увидеть в самом деле в нашей, так пострадавшей от войны стране.)

Вот если бы мне дали роль бабы, впрягшейся в плуг вместо лошади! Но таких ролей не было. И пьес нам таких не давали. Действительность лакировалась даже в

44-м году, когда города лежали в руинах, люди жили в землянках, а колхозницы, вспахивая землю, тащили на себе плуг.

Быт «крепостных» артистов резко отличался от быта остальной массы заключенных. Питание было намного лучше. Во время гастролей, тянувшихся по десять месяцев, было и вовсе хорошо.

Мы свой паек получали на руки в сухом виде. Это значит, что положенная норма доходила до наших желудков почти полностью. Во время гастролей нас в некоторых местах угощали или прикрепляли к столовым.

Страшно было возвращаться к грязи и вшам общих бараков, к похлебке из крапивы и иван-чая, к непосильной работе и вечному унижению. А я знала, что этим все кончится. Я не чувствовала своих ролей и играла как попугай. Гавронский – мир праху его – в режиссуре применял методы и приёмы любимого им кино. Отрабатывались движения рук, ног, шлифовался каждый жест. Скрупулёзно, но часто непонятно для актёра, отрабатывались мизансцены – от и до. Актёру необязательно было знать, зачем он «отсюда» перешёл «туда», зачем, войдя в дверь, должен вылезать в окно. Всё с голоса и показа.

В отношении меня, при моей тогдашней душевной несостоятельности, это было, пожалуй, необходимо. Но я всей душой ненавидела кудрявых пустышек, которых изображала. Я бы их сделала другими.

Во всяком случае, я твердо знала, что для коллектива не гожусь, что и себе самой я тоже совсем не нужна. Что после гастролей буду отчислена, и что тянуть лямку пятнадцатилетней каторги я больше не в состоянии.

По возвращении из гастролей я сделала попытку к самоубийству. Воспоминание о ней до сих пор заставляет меня краснеть от стыда.

У театрального администратора я стащила кучу снотворных таблеток и, когда из общежития все ушли на какой-то концерт, проглотила их все до одной.

Но, не имея собственной спальни, умереть трудно. Один мой старый друг забыл где-то книгу. Решив, что она у меня, он вместе со своей женой зашел в общежитие и стал меня будить. Заметив что-то подозрительное в моем необычно крепком сне, они подняли тревогу.

Хочу немного отступить, чтобы рассказать об этом друге.

За несколько лет до Княж-Погоста я на одном лагпункте работала на кухне. Однажды прибыл новый этап, состоявший из одной интеллигенции: ученых, преподавателей, работников печати и т.д.

Старостой этапа был худенький человек невысокого роста, с такой чистой, обаятельной и ласковой улыбкой, что, когда он с ведром приходил на кухню за обедом для себя и своих товарищей, мне всегда хотелось сделать для него что-нибудь хорошее, и я старалась наполнить его котелок пополнее и погуще, чем было положено.

Он сразу организовал самодеятельность, куда вовлек и меня. Потом мы в одной бригаде работали на трассе, и он был единственным мужчиной в лагере, общение с которым заставило меня поверить в возможность чистой дружбы между мужчиной и женщиной.

Потом мы разъехались и встретились уже в ТЭКО.

Он вместе с лагерной женой (они остались мужем и женой и на свободе) спасли меня от смерти тогда, и в дальнейшем были моими ангелами-хранителями, спасая от ударов судьбы.

Мы были в разных группах театра. Они работали в кукольном театре при ТЭКО, работали самостоятельно, а потом и вовсе отделились.

Пока я лежала в больнице, они, при содействии Гавронского, уговорили руководительницу кукольного театра взять меня в свой коллектив.

Интересной женщиной была руководительница. В прошлом – жена известного грузинского режиссера Ахметели и сама известная актриса, она была добрым и отзывчивым человеком. В хорошем настроении улыбалась так широко и искренне, что все вокруг начинало улыбаться.

И вот она, Тамара Георгиевна Цулукидзе, начала пробуждать меня к жизни.

В своем театре она ставила не только кукольные спектакли, но и небольшие одноактные комедии. В одной такой пьеске заняла и меня.

Метод работы был совсем не похож на ТЭКовский. Объяснения были доходчивы. Она не признавала от и до, давала больше воли фантазии самого актёра. Благодаря ей у меня проснулась часть утраченных способностей. Только ей я обязана тем, что впоследствии, уже в другом, сибирском лагере, могла руководить культбригадой, а затем довольно успешно работать в театре.

Но главное, я полюбила куклы. Куклы сами по себе, так, как если бы я работала не на зрителя, а для самой себя.

Но и счастье кукольного рая было непродолжительным.

Кончилась война, пошли изменения в режиме и политике, все начало меняться.

Я очень немного знаю, почему закрылся наш театр. Кажется, министр просвещения Коми АССР захотела иметь его у себя, но без зек. Куклы, сделанные нашими руками, были у нас отобраны и отправлены в Сыктывкар. Там они через короткое время нашли вечный покой в крысиных желудках.

Тамара Георгиевна, Алексей и Мира Линкевичи (мои друзья, о которых я говорила выше) должны были вскоре выйти на свободу. Они остались в Княж-Погосте. Меня отправили на отдаленный сельскохозяйственный лагпункт Кылтово. Начальник этого лагпункта жил в Княж-Погосте и бывал в зоне только наездами.

Лагерь был оставлен на произвол двух пьянчуг и бабника – воспитателя и врача. С ними в одной компании была ещё омерзительная сводница–рецидивистка – заведующая прачечной и баней. Был ещё и четвёртый в этом квартете – старший надзиратель, психически больной человек, взятый из психбольницы для острастки заключённых.

Я могла бы запросто из этого квартета создать квинтет, пополнив его своей особой, было бы только желание.

Через несколько дней после моего прихода в лагерь воспитатель предложил мне организовать самодеятельность.

Я вежливо, но решительно отказалась, мотивируя отказ тем, что ни организаторских, ни актёрских способностей у меня нет, сил тоже нет. После работы, в положенное для отдыха время, я хочу отдыхать.

И нажила себе опасного врага.

Во-первых, я угодила на лесоповал. Но это было ещё не самое плохое. Однажды поздно вечером надзиратель по списку вызвал с десятков женщин, в том числе и меня, и повёл в амбулаторию.

Там, увидев за столом вдрызг пьяного врача с не менее пьяным воспитателем. Я насторожилась, почуяв неладное. Пропустив женщин вперёд, сама осталась стоять у порога.

Они приказали всем раздеться догола. Тех, кто помоложе и помясистой, стали хлопать по задкам и щупать грудь. Двум пожилым сразу же велели одеться и уйти. Полюбовавшись на эту картинку, я повернулась и ушла, даже не вынув рук из карманов бушлата.

Через полчаса явился сумашедший надзиратель и передал приказ: или иди на «медосмотр», или в карцер. Я пошла в карцер.

Вообще-то этот надзиратель был неплохим человеком. Он никогда не лез к энкам и не появлял своей власти, как это делали другие. Он только выполнял приказы, отданные сию минуту. И тут нельзя было ему перечить. У него моментально белели глаза, и он впадал в бешенство до того, что мог даже кусаться. Подчинись ему сразу, и он становился рассудительным и даже добродушным человеком.

Конечно, я предпочла подчиниться сумашедшему добряку. Чем разумным бандитам. Три ночи я, отработав день на лесоповале, ходила ночевать в карцер.

В один из таких дней я опять была на волоске от гибели.

Мы с напарницей, ещё более худенькой и слабой чем я, были настолько «опытными» лесорубами, что спиленные нами три сосны зависли друг на дружке, сцепившись кронами. Оставлять их в таком положении было опасно: при любом ветерке они могли свалиться и убить кого-нибудь. И мы решили свалить на этот завал четвёртую – огромную сушину. Опыт удался. Все четыре сосны полетели в разные стороны, и одна из них – прямо на нас. По глубокому снегу обоим было не

убежать. Я успела толкнуть напарницу за дерево, а сама упала лицом в снег, зажмурилась и стала ждать смерти. Раздался гул, треск. Как сквозь вату до меня донёлся отчаянный крик. Я подняла голову.

Из-за дерева выглядывало искаженное ужасом лицо напарницы. Откуда-то со стороны бежал к нам бригадир. А рядышком со мной, «локоть к локтю», мирно лежала поверженная сосна. Её крона оказалась на полтора метра выше моей головы.

Всё это показалось мне таким чудом, что я села прямо в снег и расхохоталась под аккомпанимент бригадировой ругани и всхлипывания напарницы.

В том смехе не было радости. По опыту я знала, что судьба, отодвигая смерть, готовила мне множество других бед и страданий, от которых мгновенная смерть была бы только милосердным избавлением.

А вечером поднялась температура. Сумашедший надзиратель повёл меня в амбулаторию. К счастью, врача там не оказалось, а был лекпом, славный молодой парнишка. Смерив температуру, он дал мне освобождение от работы и от карцера. Когда надзиратель удалился, он сказал:

Вам нужно выбираться из этого шалмана. Здесь вас могут со света сжить. Сейчас составляются списки на этап в сибирские лагеря. Я могу сунуть вас в эти списки после того как их просмотрит воспитатель и врач. А уж потом, когда списки утвердят в управлении, они вам уже ничего не смогут сделать.

Я поблагодарила его и согласилась.

Накануне отъезда из этого лагеря я чуть было сама себе не нагадила. И снова вывезло какое-то непостижимое счастье.

После, мягко выражаясь, размолвки с воспитателем, ко мне стала придирается бандица – четвёртая из «квартета». Дальше или ближе бани мы с ней встречаться не могли. Она жила в прачечной. Там же учтраивала свои попойки «трио» (надзиратель не пил). Пока она не лезла ко мне своими лапами, я претворялась глухонемой. Но накануне отъезда, когда нас повели мыться в баню, она пустила в ход лапы, пытаясь вырвать у меня из рук майку, которую я простирывала (все стирали).

И тут из меня полезло всё, что накопилось за долгое время.

Я вдруг почувствовала в себе силу овчарки, короче говоря – озверела. Швырнув ей в лицо майку, я с собачьим рыком вцепилась ей в волосы, подтащила к печи, опоясанной железными рельсами, и стала колотить головой о железо.

Со всех сторон сбежались женщины, выскочили из прачечной подчинённые ей прачки и...странно! Никто не стал отнимать её у меня. Только налюбовавшись вволю её посиневшим лицом, прачки стали ласково уговаривать меня:

Брось, девочка! Из-за этой падлы ты только лишний срок заработаешь!

Нет, не страх перед новым сроком, а ласковый голос заставили меня прекратить избиение. Держась руками за голову, заведующая поднялась и, шатаясь, вышла из бани.

А ещё более странно, что она никому не пожаловалась. Иначе меня могли бы задержать за покушение на убийство.

Преступный мир уважает силу.

Немного нужно рассказать об этом этапе. Почти месяц тащился эшелон к месту назначения. Все шло по традиции: давали соленую хамсу, а воду – редко. Да и хамсы перепало мало. Блатнячки вместе с конвоем меняли наши продукты на водку и на белый хлеб, вместе пили, и ели, и смеялись над фрайерами.

Эти блатнячки, вкрапленные по 8–10 штук (говорю штук, потому что души у них не было) примерно на сорок политических, терроризировали последних как только могли, грабили как хотели, причем те даже пикнуть не смели: у блатнячек были ножи.

В нашем вагоне большинство составляли западницы: польки, литовки, эстонки, латышки. Нас, «советских», было восемь и десять блатнячек.

Посоветовавшись, мы, «советские», решили себя в обиду не давать.

Блатнячки начали с западниц. Последних было много. Большинство – молодые, спортивного вида девушки. Они могли бы в два счета смять этих тварей. Но – нет! Когда грабили одну, соседки отодвигались, чтобы бандиткам было удобнее. Хоть у тех и были ножи, но они вряд ли пустили бы их в ход.

Был канун пасхи. Бандитки только что отняли у беременной польки ее «мамочный» паек и, забравшись в свою берлогу на верхних нарах, пожирали его. Одна, похожая на ведьму, только что явившуюся с шабаша, с крестиком на выпуск, на мгновение задумалась, перестала жевать и сказала:

— Ох, девки! Канун пасхи, а мы ограбили беременную!

Еще мгновение подумав, она добавила:

— Ну, ничего. Нам бог простит!

И наша восьмерка решила избавиться от них. Мы знали, что никакие просьбы и заявления не помогут: ведь конвой был с ними заодно. Потому мы пошли на довольно подловатую хитрость (нам тоже бог простит!). Во время стоянки было выброшено письмо, в котором говорилось, что в нашем вагоне блатнячки готовятся к побегу, что ножами они хотят вскрыть пол и удрать на ходу поезда.

Через полчаса в вагон вскочили конвоиры, сделали тщательный шмон, нашли ножи и посадили блатнячек в вагон–карцер. Дальнейший путь протекал у нас спокойно.

После месяца пути мы прибыли в сельскохозяйственный лагерь – отделение Суслово, где были сразу изолированы в карантине. Этот карантин был сам по себе инкубатором всяких болезней.

Теснота, липкая черноземная грязь, тучи блох и клопов. На нарах мест не хватало, спали под нарами.

Однажды в барак зашел начальник культурно–воспитательной части отделения. Он набирал артистов в культбригаду. Кто-то из моих спутниц по этапу «выдал» меня, и после карантина я уже лепила кукол в маленькой рабочей комнате отделенческого клуба. (Весь Сусловский лагерь считался совхозом, и главное отделение было как бы конторой совхоза.)

Этот лагпункт отличался от остальных только большим лазаретом и клубом. А в жилых бараках – те же клопы и блохи, набитые соломой тюфяки без простыней, рваные одеяла. В отличие от северных лагерей, здесь зимой бараки почти не отапливались. Люди спали на нарах, не раздеваясь, в бушлатах, ватных брюках и валенках.

Мне-то было сравнительно хорошо. Я жила при клубе. Это было большое ветхое здание, кишевшее крысами, которое невозможно было натопить. Мы жгли что попало: декорации, подшивки газет, мебель. Однажды во время застольной репетиции один из ребят на минутку отлучился, а когда вернулся, его стул уже догорал в топке. Но все равно, как ни топили, пролитая на стол вода или суп моментально замерзали.

И вдруг, кажется в сорок девятом году, начался переполох в лагере. Начальство зашевелилось, забегало, закопошилось, как муравейник перед грозой. В конце зимы в зону завезли солому, хворост, уголь и стали усиленно топить бараки.

Настывшая за зиму наледь на потолках и стенах стала таять, и на головы обитателей бараков полился дождь, смешанный со штукатуркой. Когда всё подсохло, бараки хорошо побелили внутри и снаружи, и стены в секциях размазали картинками на сюжеты русских сказок. Потом были выданы новые одеяла – каждой секции свой цвет – и по две простыни. Было приказано не пользоваться ими ночью, а только днём аккуратно застилать постели.

Полы, столы и нары были выскоблены добела. Всё это было бы хорошо, но плохое не заставило себя ждать. В 49 году впервые в обычном, не штрафном лагере, зону разделили на женскую и мужскую. Наши мальчики стали ходить на репетиции по пропускам через вахту (клуб остался в женской зоне).

В это время особенно проявилась сила гонимой любви.

Мужчины и женщины лезли к своим любимым через проволоку, получали пули, становились калеками, но это никого не останавливало.

А потом женщин вообще убрали с этого лагпункта, и он стал чисто мужским. Культбригада прекратила свое существование.

Для меня это было большим ударом, потому что я очень привязалась к коллективу, совсем непохожему на ТЭЖовский. Здесь трудности спяли нас в одну семью, где царили шутки, смех, веселые проделки и круговая порука.

Этому коллективу я обязана тем, что до сих пор топчу землю. Как-то я заболела острой пневмонией, и врачи, за отсутствием лекарств, предоставили мне спокойно умереть. Бесконвойные культбригадники обегали два поселка и, где только можно было, выпрашивали таблетки сульфидина, а затем по очереди сидели у моей кровати, чтобы вовремя дать лекарство. Только благодаря им я и выжила.

Мне не пришлось идти на общие работы. Сразу после разгона культбригады на меня пришел наряд в управленческий «крепостной» театр.

Откуда обо мне там стало известно?

На одну из ежегодных олимпиад мы привезли в Мариинск кукольный театр и пьесу живого плана, в которой у меня была роль отрицательной фифочки, жены ответработника. У себя в отделении и в гастролях по другим лагпунктам у меня эта роль проходила средненько. А тут, на большой сцене, с меня будто оковы свалились. Я заиграла так живо, естественно и вместе с тем смешно, что меня проводили со сцены аплодисментами. Тогда же мне и сделали предложение перейти в управленческий театр. Но свой коллектив я бы не променяла ни на какие блага. Когда в Мариинске узнали, что суловской культбригады уже не существует, на меня и спустили наряд.

В театре было три группы: драматическая, вокальная и хореографическая.

Я всегда была к танцам равнодушна. Но здесь, в Мариинске, впервые полюбила этот вид искусства. Балетмейстер своим мастерством не уступал Моисееву. Но больше всего группу украшала одна танцовщица, которой война помешала закончить балетное училище. Она была из Венгрии, отец был евреем, и когда гитлеровцы пришли в Венгрию, семье пришлось разбежаться в разные стороны.

Она стала танцовщицей в кабаре какого-то захолустного городка. Когда Советская Армия стала приближаться к границам Венгрии, она решила через фронт бежать в Советский Союз. Она сумела добраться до советских окопов и свалилась прямо на головы солдат.

Здесь ее первым делом изнасиловали, наградили венерической болезнью, а затем, как шпионку, наскоро судили и отправили в лагерь.

В Мариинске ее сняли с эшелона больную, почти умирающую, и положили в лазарет. Оттуда ее, после лечения, выудили работники театра.

Какая эта была танцовщица! Наряду с балетными номерами она танцевала и народные, и характерные танцы. Каждый её танец – это дивная песня, будившая в памяти старые сказки и образы фей, пляшущих при луне на лесной поляне.

Мне трудно описать всю красоту и мастерство ее танцев. Мой язык слишком беден, да и разбираюсь я в хореографии плохо, но ни до, ни после Долли я не видела ничего подобного.

Начальство ГУЛАГа прилетало из Москвы только для того, чтобы посмотреть танцы Долли Такварян.

В этом театре я играла роли более-менее мне доступные: Манефу и Галчиху в пьесах Островского, Дуняшу в «Женитьбе» Гоголя, Лукерью в «Свадьбе с приданым». Кроме того, до разъезда на гастроли я обязана была принимать участие в хоровых и танцевальных ревию в больших праздничных концертах. Это мне нравилось как собаке палка.

Но своим ролям я отдавала душу. О себе невозможно сказать, хорошо или плохо ты играешь. Но я не раз слышала, как музыканты или балетчики на каком-нибудь десятом спектакле говорили:

— Посмотрим Галчиху (или Дуняшу) и завалимся спать. Совсем неплохо было в этом театре. Чистое общежитие, зарплата, выдаваемая на руки (с вычетом содержания). Были здесь старые актрисы – Морская, Малиновская, которые говорили, что предпочли бы до конца жизни остаться в этом театре, что их пугает сомнительная свобода, которая ждет их за зоной.

И вдруг – опять пугающие новости.

Сначала стали собирать по лагпунктам рецидивистов, и сотни их затолкали в Мариинскую пересылку, где они с ходу затеяли нешуточную войну с власовцами. Дрались топорами не на жизнь, а на смерть.

Для прекращения этой войны по приказу начальника пересылки на вышки поставили пулеметы и стали косить всех подряд, причем погибло немало ни в чем не повинных людей, которые выбежали из охваченных побоищем барачных бараков.

В этой бойне погибло около трехсот человек, скошенных огнем пулеметов и топорами и ножами своих собратьев по заключению.

Скандал был настолько шумный, что в высших инстанциях вынуждены были, как это всегда бывало, найти козла отпущения. Таковым оказался начальник пересылки, которому, как говорили, дали 25 лет, предварительно разжаловав.

Затем стали собирать этапы политических. На станции формировались длинные эшелоны, набитые битком политическими. Их брали, невзирая ни на транспортальность, ни на степень вины и продолжительность срока.

Из больниц брали полумертвых, догорающих стариков, послеоперационных больных, на костылях, на носилках и своим ходом, в рванье тридцать третьего срока их волокли к вокзалу и набивали до отказа обледенелые теплушки.

Это было в январе, феврале и марте 1951 года. Весь лагерь был в тревоге. Прошел слух, что все политические обречены на уничтожение или, в лучшем случае, их уберут с глаз подальше, в самые дикие, пустынные и безводные окраины страны, где жестокий режим и невыразимо тяжелые условия труда доведут их до массовой гибели без применения газовых камер и пулеметов.

Никакие заслуги, никакое мастерство не спасало политических от этих страшных этапов.

В лазарете работал молодой хирург Гринько (сидел за связь с бандеровцами). Его знала вся Мариинская область. Сотни обреченных на смерть спас он своим скальпелем. В большинстве это были вольные, и среди них – немало начальства и членов их семей. Его взяли вместе с больными и, несмотря на заступничество главврача, старого коммуниста Старцева, и петиции бывших пациентов, отправили на вокзал.

Добрались и до нашего театра.

В тот день, когда в клубе были зачитаны списки, театр оказался, по существу, разгромленным.

Оставались бытовики, малосрочники и те, у кого сроки подходили к концу. Долли Такварян и меня пока в списках не было.

Все уже было известно точно. Среди вольнонаемных у нас было немало приятелей. Кое-кто из них был назначен сопровождать этап. Они-то и поставили нас в известность о месте назначения: Джезказган. Медные рудники. Безводная солончаковая степь.

Кроме того в лагере оказался зек, в недалеком прошлом работник ГУЛАГа. В нашем маленьком женском общежитии, куда собрались почти все работники театра на печальные проводы товарищей, он твёрдо, не озираясь и не опасаясь предательства, сказал:

Я знаю точно, это – на уничтожение. Конечно, всё может измениться, и кто сумеет продержаться, ещё увидит лучшие времена. В правительстве сейчас такая каша. Кто кого сгрёб, тот того и ...б. Но кровожадные пока в большой силе...

Затем он поведал о причине этих этапов. Передаю его рассказ.

В Советский Союз приезжала Элеонора Рузвельт. Ей было известно об огромном количестве заключенных, содержащихся на всех обширных окраинах Советского Союза.

Узнать об этом было совсем не трудно. Из недавно присоединённых республик: Эстонии, Латвии, Литвы и Западной Украины, из всех стран социалистического лагеря в ООН и во все концы летели вопли тех, кому удалось сбежать за границу. Теперь они молили о помощи родным и близким, заключённым в лагерь или целыми семьями сосланным в южные, восточные и северные окраины нашей страны.

Элеонора Рузвельт пожелала лично посетить лагерь. Ей в этом было отказано хотя и решительно, но при тогдашней послевоенной нашей слабости боялись, что она сумеет настоять на своём.

Поэтому и украшали картинками бараки, а вшивые матрацы застилались днём белоснежными простынями...

В ООН был поставлен вопрос о нарушении прав человека, говорилось о посылке в Советский Союз специальной комиссии для изучения этого вопроса.

Наши представители в ООН (кажется, тогда был Вышинский) отбрыкивались как могли, но дома в это время стали убирать «мусор» и запихивать его в дальние закоулки, чтобы там, не торопясь, уничтожить, превратить в удобрение для высушенных солнцем степей Казахстана и каменистой почвы красноярской тайги.

К этому бурно стремилась краснофуражечная часть правительства.

Система фашистских лагерей вызвала у них зависть, поэтому новые лагеря строились по типу фашистских. Был разработан и режим по тому же образцу.

Они с удовольствием внедрили бы в своих лагерях и газовые камеры. Но такое шило в мешке не утаишь, и буря, вызванная в мире таким нововведением, смела бы их самих. А они жаждали власти.

В Джесказгане рудники были открыты давно, но из-за отсутствия жизненно необходимых условий (в основном из-за безводья) они чуть дышали. А тут появились зеки, отлученные от человеческих законов, как подопытные животные. Нужно только побольше колючей проволоки, наручников, охраны, пулеметов на вышках, немецких овчарок и отсутствия совести и человечности.

Этапы ушли. Вернулся конвой, и у нас оказалась записка от наших товарищей, из которой мы узнали об их судьбе.

Режим – каторжный. Всех украсили номерами, как в фашистском лагере. Работа в рудниках до упаду. Кормежка – два раза в день. Литр воды в сутки. Хочешь – пей, хочешь – умывайся. Здорового человека хватает на месяц, того, послабее, – недели на две. Гринько калечит свои драгоценные пальцы хирурга кайлом и лопатой. Один из наших танцоров сошел с ума.

Мы ходили как пришибленные. Чувствовали себя хуже, чем, наверно, чувствовали себя крепостные актёры перед поркой на конюшне.

Репетиции не клеились. Чтобы как-то спасти программу, каждый обязан был нести двойную, а то и тройную нагрузку, но охваченные унынием актёры потеряли вкус к работе. Всю жизнь любимая, она теперь казалась никчемной и постылой.

Незадолго до этих событий я перенесла сложную операцию. Как раз когда я лежала в больнице, началась колготня с отправкой этапов. Всех, кто мало-мальски держался на ногах, выписывали из больницы. Выписали и меня, хотя я после операции еще только училась ходить. Но я бодрилась, показывала всем (и себе самой), что «я могу!».

И – правда! Роли у меня были очень подвижные (кроме Галчихи). На репетициях никто бы не поверил, что всего несколько дней тому назад я с трудом, с одышкой и сердцебиением, училась преодолевать метровое расстояние между двумя кроватями.

Зато после репетиций я пластом лежала в постели, и мои сожительницы, грустно поглядывая на меня, говорили, что белизной моё лицо не отличается от подушки.

Когда беда обрушилась на театр, мной овладело чувство безнадежности, страха и уныния. Я боялась своей физической слабости, боялась подгоняющих штыков конвоиров, ненавидела свое проклятое сердце за то, что оно никак не хочет разорваться. Это был страх бродячей собаки перед палкой, страх раненого зайца, который в руках охотника по-ребячьи кричит от боли и страха перед еще худшей болью.

Будь проклят во веки веков тот, кто способен вызвать такой страх, безразлично в ком – в зайце, собаке или человеке.

Конечно, внешне я ничем не выдавала своих переживаний, все мы были достаточно закалены и умели скрывать свои чувства.

Но седые волосы, обнаруженные после бессонной ночи, морщины, которых не было вчера, старческая складка у рта. Ее, как ни старайся, уже не разгладить.

Короче говоря, предчувствие не обмануло меня. Были отправлены основные этапы, все как будто начало входить в спокойную колею, а в управлении начали заниматься подборкой «хвостов».

Кое-как успели подготовить программу для выездов, и вдруг – удар, самый болезненный и неожиданный: в этап вызвали Долли Такварян, звезду и опору театра. Тут даже наш директор(бытовик из фронтовиков), раньше даже краем кителя не касавшийся театра, растерялся. Бесконвойный, он побежал в управление.

Оттуда вернулся построжавшим, подтянутым, как положено «другу народа» и верному сыну родины. Созвал всех и заявил:

Будем работать дальше. Из-за ухода каких-то врагов народа, которые по ошибке находились в театре, мы не прекратим существования. Нитья – не потерплю!...– и так далее.

Между прочим, он сообщил, что Долли отправляют в Тайшетлаг. Это было не так страшно, как Джесказган.

А через несколько дней пришла моя очередь, несмотря на то что у меня оставалось немногим больше года до конца срока.

Моим товарищам удалось узнать, что я буду с Долли в одном лагере.

Была уже поздняя весна, когда я вышла из зоны, направляясь к пересылке. Вместе со мной шли еще несколько незнакомых женщин. День был теплый, солнечный. Вещи были сложены на подводу, конвоиры не торопили и не подгоняли нас. Да и до пересылки было каких-то три километра. Все страхи и волнения прекратились. Осталась странная оцепенелость и безразличие ко всему на свете.

Долли я на пересылке не застала. Еще одно разочарование. Мне вдруг страшно захотелось спать. Я бросила вещи на нары, повалилась на них, уснула, и две недели, проведенные на пересылке в ожидании этапа, я почти полностью проспала. Стоило мне присесть или прилечь, как я уже спала. Благо на работу не гоняли.

От этого самогипнотического сна я очнулась уже в Тайшете. Здесь мне сказали, что Долли всего несколько дней тому назад отправлена на трассу. На какой лагпункт – неизвестно.

Через несколько дней с большим этапом других женщин я была направлена в Братск.

...Начиная с середины тридцатых годов название, присвоенное советским лагерям – исправительно-трудовые – потеряло свое первоначальное значение. Правда, с самого начала своего существования они были скорее истребительно-трудовыми, но какая-то видимость хотя бы Малаховского гуманизма прикрывала «воспитательные» меры наших надсмотрщиков.

Были общие для женщин и мужчин лагеря, где менее замученные и опустившиеся люди могли забыть в объятиях любви, и начальство часто закрывало на это глаза, если зеки выполняли и перевыполняли нормы.

Была самодеятельность и гордость управленческих начальников – созданные ими профессиональные театры, которыми они хвастали один перед другим. В них счастливчики актеры чувствовали себя хоть и второсортными, но все же людьми.

Привозили кино. В пределах лагерной зоны (кроме карцера и морга) решеток не было, замков тоже не было, и можно было свободно ходить по всей зоне.

Новинка, сконструированная компанией Берии–Абакумова, не блистала оригинальностью. Все, все было слизано у Гитлера, кроме газовых камер.

Первое, что бросилось в глаза, когда мы вошли в зону, – это решетки на окнах бараков и засовы на дверях. Возле уборной, куда, как обычно, всех потянуло, рядами выстроились бочки, над назначением которых ломать голову не приходилось. Ясно – параши. Значит, правда, тюремный режим.

Зона была безлюдна. После проповеди начальника режима, ознакомившего нас с правилами и обязанностями, в которых преобладали слова «запрещается» и «карается», нас усадили посреди зоны на самом солнцепеке, велели не шляться по зоне и ждать.

Сразу же на нас напала огромная туча мошкар, крупной, нахальной, вырывающей куски мяса. Но у меня потемнело в глазах не от мошки. Со списками в руках к нам подошли женщины: врач и две нарядчицы. На белом халате врача – на спине и на подоле у колен – темнели нашитые лоскуты с номерами. Такие же нашивки были на платьях нарядчиц и всех изредка пробежавших мимо нас женщин.

Казалось бы, что особенного в тряпочках с цифрами, нашитыми на платье?

Но эти тряпочки отнимали у нас имя, фамилию, возраст, превращали в клейменный скот, в инвентарь, а может быть, и хуже, потому что нумерованный стул продолжает называться стулом, клейменная скотина имеет кличку, мы же могли отныне отзываться только на номер. За отсутствие номера на положенном месте ждала суровая кара.

Уже к вечеру, без бани (не было воды), нас разместили по баракам. На сплошных нарах и без того было тесно, а когда на них втиснули новоприбывших – совсем не продохнуть. Втиснули без врачебного осмотра, а в этапе были и рецидивистки, среди них больные сифилисом, туберкулезом... Бараки на ночь запирались и ставились параша. К духоте и тесноте прибавлялась еще и невыносимая вонь.

В лагере появилась дизентерия. Это несколько не обеспокоило начальство. На просьбу изолировать больных ответили отказом. Надзирательница цинично заявила:

— Обойдётся. Хватает вашего брата. Одни подохнут – навезут других.

Дизентерией наши «благодетели» наградили нас сами: из Монголии в лагерь привезли несколько машин бараньих тушек. Стояла летняя жара, тушки везли в открытых самосвалах, не затрудняясь чем-нибудь укрыть от солнца и мух. Мясо испортилось ещё в дороге. По густому душку издали можно было догадаться, какое угощение приготовило нам начальство.

Но... голод – не тётка. Многие ели это мясо, особенно в мужских зонах. И началась эпидемия дизентерии, при которой начальство зачухалось только тогда, когда она забралась и в посёлок вольнонаёмных. Стали «искать» источники эпидемии, но, конечно, не там, где она была в самом деле.

На кухне и в хлебоборезке сменили службу как бациллоносителей. Но когда очковтирательство не помогло, да и сами зэки отказались есть мясо, его потихоньку убрали со склада и где-то закопали. Вместе с ним пошла на убыль и дизентерия.

По болтовне простодушных надзирателей и конвоиров можно было догадаться, во-первых, о том, что нас ждёт, во-вторых, о чём-то таинственном, что готовилось для всей страны.

— Не растягиваться, коммунисты проклятые! — кричал какой-нибудь комсомольского возраста конвоир, когда колонна зэков, идущих с работы или на работу, растягивалась больше, чем положено.

— Забудьте про советскую власть! К вам она не имеет никакого отношения, — издевательски ухмыляясь, говорил другой.

Не похоже было, чтобы в устах довольно грамотных парней, вдобавок ежедневно накачиваемых политинформацией, такие высказывания были просто необдуманной отсебятиной.

— Вам, политическим, — говорил молоденький вологоддец, — отсюда ходу нет. Вы завязаны в такой узелок, цё кому завтра кончается срок, тому послезавтра будет новый. А кто и освободится, так далее близнеца полустанка не уйдёт!...

Вообще конвоиры любили поразвлечься болтовнёй, если поблизости не было начальства. От их болтовни становилось ясно, что эти мальчишки о Ленине знают столько же, сколько о пророке Магомате. Знают о том, что существует партия, но не подозревают. Что она коммунистическая. Гуманизм путают с онанизмом, а

свой комсомольский долг видят в том, чтобы в течение скучного, отравленного мошкой, дня придумывать для ээков издевательства позабористей.

Свой томительный, бездельный день они часто удлиняли на час, на два ради удовольствия по пути в зону уложить женщин в самую большую лужу и держать их под автоматным прицелом, пока в казарме не кончится нудная маршировка с пением, от которой они под любым предлогом старались отвертеться.

Даже из кары здешних мест – мошки – мальчики устраивали забаву: запрещали отмахиваться.

Так развлекались русские мальчишки, но, по крайней мере при мне, не было случая, чтобы они убивали.

В конвое были и казахи. Те не любили праздных разговоров, на часах сидели молча. Не устраивали забав с лужами, но – убивали. Убивали, потому что «законно» обставленное убийство поощрялось и награждалось именными часами и внеочередным отпуском. И мало ли ещё какие выгоды оно сулило.

В этих убийствах была особая закономерность: не рекомендовалось стрелять в человека, если в карточке конец срока был указан более чем через год. А если менее?

На моих глазах произошло вот что.

Бригада работала в лесу. Для чего-то расчищала участок. Конвоир–казак спокойно сидел на пне и перебирал карточки членов бригады.

Отобрав одну карточку, он потянулся, зевнул и крикнул:

— Номер! (такой-то)

Лет девятнадцати девушка из Западной Украины оглянулась, пошла на зов конвоира и остановилась от него за пять шагов.

— Сложи мне костёр, мошка заедает, — попросил он.

— Но здесь нет сухих дров, — улыбаясь ему, ответила девушка.

— Собери за запреткой.

— Э нет, спасибо! За запретку я не пойду!

Казак поднялся, выдернул из земли дощечку с обозначением запретной зоны, переставил её на десять шагов назад и приказал:

— Иди собирай!

Она пошла. Может быть, на пятом шаге её настиг выстрел в спину.

Ей было девятнадцать лет. Срока, за связь с бендеровцами, имела пять лет. До конца срока ей оставалось три месяца.

А конвоир взял запретку, поставил на прежнее место и снова уселся на свой пенёк в ожидании начальства.

Этому начальству потрясённые женщины рассказали всё, как было, оно обещало разобраться и отправило бригаду в зону на час раньше.

Три дня убийцы не было видно. Озорные конвоиры молчали, обходили лужи и приводили бригаду в зону вовремя.

А на четвёртый день казах как штык снова появился на своём пеньке. На руке у него блестели новенькие часы.

И ещё помню случай.

Бригаду из двенадцати молодых девушек, под усиленным конвоем, послали на командировку вглубь тайги. Это была небольшая заброшенная зона, в которой неизвестно что нужно было делать.

Ночью, когда после утомительного похода девушки улеглись спать, в зону ворвались конвоиры, выгнали их в одних сорочках из барака и устроили себе настоящую фашистскую потеху: заставили девушек до упаду бегать по зоне, пока одна из них не упала. Чтобы больше не подняться.

Девчонка эта расцвет своей короткой жизни встретила в Дахау, об этом свидетельствовало клеймо, вытатуированное на руке выше локтя, а закончила её на подкомандировке девятой колонны возле Братска. Возле того Братска, что вошёл в историю как пример трудового подвига, но не тех, кто вынес на себе основную и самую трудную часть строительства, а какого-то Марчука, который «играет на гитаре, а море Братское поёт!...»

В новых лагерях заключенным были запрещены самодеятельность и кино, газеты, книги и настольные игры. «Культурный» отдых заключался в том, что сразу после ужина всех выгоняли на мошку и под видом поверки держали в строю до отбоя.

Подъем делали в полшестого, а когда дежурному на вахте надоедало клевать носом, он, чтобы прогнать сон, устраивал побудку на час раньше.

И еще один бич: нехватка воды. Ее возили в цистерне из реки за десять километров. Два бензовоза не могли обеспечить нужду двух многолюдных зон и поселков. В первую очередь снабжались вольнонаемные, казармы, затем – лагерные кухни. В барак утром заносился бачок воды, его с бою захватывали более сильные. Вечером – тот же бачок с кипятком, слегка закрашенным ячменным кофе. Баня была раз в месяц, выдавалось по полшайки воды, а о прачечной и речи не было.

В лесу припадали к каждой дождевой луже, а по зоне ходили с тазиком и просили подруг пописать, чтобы в моче выстирать шерстяную кофточку или юбку.

На работу ходили строгой колонной, неся по очереди тяжеленные ящики с инструментом: пилами, топорами, кирками, лопатами. На обратном пути ноши прибавлялось: несли кого-нибудь из бригадниц, уложенных во время работы сердечным приступом или солнечным ударом.

На тяжелые работы гоняли всех без разбору: и молодых, и старых. И что интересно – здесь особенно не спрашивали ни норм, ни планов. За невыполнение не наказывали, за перевыполнение не поощряли. Просто десять часов заставляли работать до упаду. Заключение было много, и часто случалось, что на всех не хватало работы. Тогда заставляли заниматься сизифовым трудом: делать что-нибудь ненужное, бесполезное, «абы руки не гуляли».

А в зоне тоже было несладко. За малейшую провинность, за оторванный номер сажали в БУР (барак усиленного режима). Днём в опустевших бараках производились обыски, и пришедшие с работы часто не досчитывались чего-нибудь из вещей.

На утомительные поверки являлся вечно пьяный начальник режима, с розовой свинячьей мордой и мутными глазами, налитыми злобой. Если он был пьян не в стельку, то обязательно произносил речь. В ней слово за слово не цеплялось, а угрозы сыпались как из худой торбы.

В троице лагерного начальства самым человечным был политрук. Он тоже умел грозить, но его угрозы звучали как предупреждение, и он мог одним словом успокоить и вселить надежду в душу отчаявшегося человека. Пьяного начальника режима и душевнобольного начальника лагпункта он кое-как удерживал в шатких рамках законности.

Среди заключенных началась эпидемия самоубийств. В основном это были молодые девушки–западницы. Выбор средств был небольшой: травились хлорной известью или вешались где-нибудь в укромном уголке.

К счастью, условия режима не позволяли держать заключённых на одном месте больше двух месяцев. Чтобы не привыкали.

Уже через три месяца, с большим этапом женщин, я очутилась на другом лагпункте, где, только потому что он был другой, нам показалось полегче.

К счастью, условия режима не позволяли держать заключённых на одном месте больше двух месяцев. Чтобы не привыкали.

Уже через три месяца, с большим этапом женщин, я очутилась на другом лагпункте, где, только потому что он был другой, нам показалось полегче.

Что-то произошло в правительственных верхах. Заговорила ли в ком-то совесть, что маловероятно, или кто-то догадался, что расточительное отношение к рабочей силе неразумно, или, может быть, потому что в ту пору иностранная разведка узнала о наших лагерях истребления, и там затрубили во все трубы – в лагерь пришло облегчение.

Вдруг была разрешена самодеятельность, появился воспитатель с газетами, изредка стали привозить кино.

На маленькой сцене в столовой девушки начали репетировать какую-то пьеску. Мольбами и уговорами они заставили меня пойти посмотреть репетиции.

Меня тронула их сценическая жажда и неумелость. Поправляя мизансцены и помогая раскрыть образ, я увлеклась сама, забыла о страшной действительности и о слове, данном себе: никогда больше не ступать ногой на лагерную сцену.

Местное начальство в запретах и разрешениях редко знало меру. В таёжной глухомани им и самим было скучно, и среди них опять началось соревнование за лучшую самодеятельность. Зачислив особо одарённых участников самодеятельности на какую-нибудь фиктивную должность, их порой и вовсе освобождали от работы до следующего этапа.

Смешная и жалкая была эта самодеятельность. Пьесы не пишутся для одних только женщин или мужчин. И можно было себе представить, как выглядел седобородый профессор Окаёмов со звонким девичьим голосом и косой, выбивающейся из-под ярмолки. Или грудастый, широкобёдрый Леонид Борисович. И как выглядела Машенька в самодеятельности мужской зоны в исполнении юноши с мягким тенором и пробивающимися усами.

Но человек ко всему притвыкает. Глядя на сцену, изголодавшиеся зрители не замечали не писклявого голоса Окаёмова, ни модных грудей Леонида Борисовича. Плакали над заброшенностью Машеньки и над запоздалым раскаянием старого академика.

Минула еще одна зима. Наступило лето. Пришел и ушел август 1952-го – время окончания моего срока. Я встретила эту дату без радости и печали. Я давно привыкла к тому, что отсюда выхода нет. Теперь уже не разыгрывались спектакли с вручением нового срока, как это было раньше. (Зека вызывали, поздравляли с окончанием срока и просили расписаться за новый.) Теперь не освобождали – и все.

Отчаяние сменилось полным безразличием. Привыкла я и к тряпке с номером, и к решёткам, и к параше. Тем более что на новых колоннах веяло другим, более мягким ветром. Среди пасущих нас я стала различать и добрые лица. Особенно выделялось веснушчатое, голубоглазое лицо прораба, поэта и застенчивого поклонника всех девушек. Для них он написал и им посвятил «Оптимистический вальс», корявоватые строки которого оживляли у некоторых потерянную надежду, будили мечты:

Я тебе, друг, этот вальс пропою,  
Прогони же печаль ты немую свою.  
Там далеко, за зелёной тайгой,  
Где-то город стоит твой любимый, родной.  
Вижу я парки и вижу сады,  
Вижу деревья, вижу мосты –  
Это город твоей мечты.  
Время придёт – ты вернёшься домой  
И с друзьями пойдёшь по родной мостовой.

.....

.....(забыла)

Снова ты будешь смеяться и петь,  
В небо вечернее с другом глядеть.  
Радость вернётся в жизнь твою.  
Вспомни же песню мою....

И когда девушки после концерта в клубе, кружась в вальсе, напевали эти стихи, он, буквально как снег под солнцем, таял от удовольствия.

Может быть это не моё зрение стало проясняться, а как фотография в реактиве, стали проясняться под воздействием каких-то причин духовные качества людей, задуренные, загнанные политикой, культом, слепой верой и слепым подчинением?

Положительное влияние в политике правительства? Но тогда слоноподобные начальники режима или хладнокровные убийцы–конвоиры должны были бы стусеваться? Но нет, мерзавцы остались мерзавцами в своём неприкрытом виде. А просыпающееся добро ещё робко и неуверенно вставало против зла, мешая ему разрастаться. Это было заметно ещё на десятой колонне, когда малоразговорчивый политрук одной, брошенной вскользь, репликой обесценивал грозные монологи начальника режима. Это расхождение во взглядах на методы применения режима особенно стало ощущаться на слюдяной фабрике, куда я попала осенью 1952 года.

Как я уже говорила выше, эски не должны были задерживаться на одном месте более шести месяцев. Тут уж никакой начальник – любитель самодеятельности, ничего не мог поделать.

Таким образом моей очередной пересадкой оказалась Слюдянка. При фабрике была довольно хорошая самодеятельность, насколько она может быть хорошей при однополном контингенте.

Художественным руководителем здесь была Мария Александровна Спендиарова, дочь известного композитора. Несмотря на уже солидный возраст и на все пережитые мытарства, у неё сохранился звенящий свежестью юности чудный голос. Она сумела создать хороший эстрадный коллектив, большой хор и танцевальную группу, чем заслужила особую благодарность местного начальства.

Больным местом был драматический кружок: не было режиссера.

Обо всём этом мне сообщили девушки, приехавшие вместе со мной. Они ухитрились обегать всю зону, везде побывать, обо всём узнать. И они же принесли мне весть о смерти Долли Тыкварян, зная, что я ищу её.

Долли здесь, на Слюдянке, уже успела снискать любовь и восхищение как эзков, так и начальства своими танцами и человеческим обаянием.

Когда она заболела, её лечили всеми доступными средствами не от того, от чего надо было. Сама она не сказала. Скрыла то, чем болела раньше. И, почему-то, что она наполовину еврейка. Может быть, это был дар предвидения.

Девушки доложили обо мне Спендиаровой, и та попросила привести меня к ней.

Я, вообще-то, сценической внешностью никогда не блистала и в быту совсем не умела себя «подать». Кое-какой «гардероб» у меня был, когда я выехала из театра, но в этапах и на общих работах я обносилась, а одеждой нас не баловали. Поэтому я выглядела подлодочной бродяжкой, и когда я, по вызову Марии Александровны, явилась в красный уголок, меня встретили откровенно негодующие взгляды и шепоток. Невозмутимой оставалась только Мария Александровна. Но по тому, как опустили на миг её веку, было видно, что она разделяет недоумение своего коллектива.

Очень доброжелательно она рассказала, что в самодеятельности девушки сгорают желанием играть в пьесах, но некому пьесы ставить. Сама она певица, в драме и когда не играла, а в опере над ней самой стоял режиссер. Через неделю у них концерт, и они хотят дать маленький отрывок из пьесы. Так вот, не смогу ли я помочь им поставить этот отрывок?

Я, не раздумывая, согласилась, как согласилась бы помочь нести бревно или потереть спину в бане.

Это был отрывок из одной глупейшей комедии – не то «День отдыха», не то «Дом отдыха», уже не помню.

Уже с третьей репетиции «актёры» перестали замечать подзаборный вид своего режиссёра.

И, может быть, такая нешаблонная «подача» себя сыгралароль в том, что во время концерта клуб–столовая была набита народом.

После концерта ко мне подошла седая женщина с милым, моложавым лицом и сказала:

— Это то, чего им не хватало. Нужна хорошая драма. Концерты немного приелись.

Как мне потом сказали, это была Ярославская, сестра известного историка. Она досиживала не то второй, не то третий срок.

В правительстве происходила какая-то какафония. Сталин спешил в коммунизм, его приближённые – куда-то в противоположную сторону.

Местной администрации было приказано сдать коров и приусадебные участки в колхоз (чтобы не тащить в коммунизм частную собственность). У многих была большая семья, и в основном они только и держались за подсобное хозяйство.

Помню, пришло к нам в барак начальство. По ароматному облаку, сопровождающему их, и по красным лицам чувствовалось, что они порядочно нагрузились.

Как положено, все вскочили и выстроились вдоль барака в две шеренги.

Задав обычный вопрос «жалоб нет?» и получив отрицательный ответ, один из них, видно самый пьяный, сказал:

— Ничего, товарищи (!), через год-два у нас уже будет коммунизм. И тогда все лагеря раскроются, и вы там будите первыми. Вам не нужно привыкать, у вас нет ничего своего, одна пайка, и ту вы делите с подругой. А мы обросли добром, хозяйством, и ох как трудно нам со всем этим будет расставаться!

Мы опешили. Кто-то из них подошел к проболтавшемуся начальнику, положил ему руку на плечо и кивнул на выход. Не помню, чтобы этот начальник появлялся потом в зоне.

Политика 1952 года не сулила ничего хорошего.

На сцену вылез давно заклецмлённый позором, загнанный, но не уничтоженный «еврейский вопрос».

Газеты запестрели еврейскими фамилиями и бранью по их адресу. Предавались анафеме композиторы «за упадническую мелкобуржуазную музыку», а учёные – «за отравление ума лженаукой», артисты объявлялись вне закона. Зверское убийство Михоэлса было расценено чуть ли не как акт патриотического негодования, а сам он был посмертно заклеймлён клеймом буржуазного националиста.

Чем же была вызвана такая ненависть к народу, наполнившему своими телами Бабий Яр, к народу, пеплом которого удобрились поля Европы? К народу, постоянная вина которого, может быть, заключалась в том, что он дал миру Христа и Маркса?

Разгадка пришла потом, после многих разоблачений и раскаиваний, отмежеваний и расстрелов.

Болезнью Сталина, выжившего из ума на почве неограниченной власти, воспользовались некие пошехонские Геростраты. За залатанной ширмой «еврейского вопроса» они хотели спрятать от народа пожарик, который собирались раздуть в собственном гнезде.

Даже здесь, в лагере, где распределение «придурковских» работ зависело от квалификации человека, доверия, которое он внушал, или, наконец, личной симпатии старшего надзирателя, – теперь бралась во внимание НАЦИОНАЛЬНОСТЬ. Евреев к работам более чистым и лёгким было категорически запрещено допускать.

И самое неприятное и постыдное было в позиции, которую в этом вопросе занимали некоторые бывшие коммунистки–еврейки.

— Ну, раз партия говорит!...

Была здесь журналистка из Красноярска, болельщица самодеятельности, некая Войталовская.

Её талант, эрудиция, красноречие, которыми она, безусловно, обладала, были замкнуты в клетке тогдашней политики, если можно назвать политикой кавардак, царивший в стране.

А таланту и логике тесно в клетке. Пытаясь оправдать то, чему оправдания быть не может, и искать логики, где её днём с огнём не сыщешь, бедная журналистка настолько запутывалась, что потом не знала, как и выпутаться из дебрей собственного красноречия.

На почве «политической бдительности», а скорей всего ради риторической тренировки, она затеяла полемику и со мной, и, как ни странно, эта полемика разделила на два лагеря не только наших товарищей, но и само начальство.

Началось вот с чего.

После двух-трёх удачно поставленных спектаклей нам разрешили поставить «Любовь Яровую» – мечту некоторых участниц самодеятельности. По всей лагерной трассе её ставить не разрешали, но нам разрешили, несмотря на мои протесты. Разрешили, сославшись на меня:

— Она не исказит!...

Трудно себе представить героев «Любви Яровой» в исполнении визгливых и грудастых актёров. Но, слава богу, здесь было достаточно «коблов».

«Коблы» – это человеческая разновидность, порождённая многолетним безмужним существованием.

Этот средний род не признавал женских платьев, ходил только в мужском и обладал хрипловатым голосом, похожим на мужской. Так как большинство их было лагерными старожилками, их женственные зачатки засохли на корню. Рудименты груди можно было рассмотреть только в бане, куда они вместе со всеми ходить не любили.

Вот из этой породы и вербовались актёры на мужские роли. И надо сказать, что многие из них не ударили лицом в грязь.

Ничего не поделаешь, приказано – нужно ставить. И я взялась за «Любовь Яровую».

По ходу спектакля требовался хор для исполнения революционных песен и для сцены встречи белых.

Хор состоял в основном из западниц, обладавших хорошими голосами и умелым регентом. Поэтому молитвенные и военные песни во время встречи белых звучали у них несколько проникновеннее и мощнее, чем было дозволено политикой.

Вот в это и вцепилась Войталовская.

После второй или третьей сводной репетиции, на которую пришло начальство и кое-кто из ээковской элиты, допущенной на просмотр, во время обсуждения Войтановская вдруг заявила, что хор из картины встречи белых нужно убрать. Что в сознании зрителя этот хор создаёт перевес в пользу белых, порождает симпатию к ним, а это политически недопустимо, и – запенилась красноречием.

Выслушав её, я возразила, что революция действительно имела врагов сильных, с мощной военной, материальной, а следовательно, и декоративной базой, в то время как революционный пролетариат обладал только силой гнева, ненависти и веры в победу. И что, если из спектакля убрать хор, это затушет, принизит силу противника, и вместо кровавой битвы получится карикатура, борьба с ветряными мельницами. Что революция тем и сильна, что победила в неравной битве, в которой на стороне противника была мощь оружия и пропаганды капиталистического строя, а на стороне революции – только вера в неизбежность царства справедливости и готовность отдать жизнь за это царство, и... тоже запенилась.

Короче говоря, на этом обсуждении Войталовская потерпела поражение. Выслушав обе стороны, начальник управления сказал ей, чтобы она занималась своим делом – щипкой слюды, а я своим – доводкой спектакля, как я его понимаю и нахожу нужным.

На этом она не успокоилась. Потерпев поражение в открытом бою, она пошла на нечестные приёмы. Стала за моей спиной обрабатывать начальника лагеря. Я почувствовала это по его недоверчивому и насторожённому отношению ко мне.

От основной работы – щипки слюды – была освобождена одна Спендиарова. Я же десять часов отработывала в цехе. Норму я, как ни старалась, выполнить не могла, мне помогали девушки из самодеятельности. У меня обострилась болезнь ног. Я не знаю, как она называется. Ноги от долгого сидения распухали, покрывались багровыми и синими пятнами, горели огнём, и ступить на них стоило больших мучений.

Но, к счастью, своим человеком, меценатом самодеятельности, оказалась врач из стационара и амбулатории. Спендиарова попросила её осмотреть мои ноги, и та немедленно положила меня в стационар с правом выхода на репетиции.

Начальник лагеря из-за своей подозрительности усомнился в моей болезни и пришёл в стационар, чтобы самому всё проверить.

Врачу пришлось выпростать мои ноги из-под одеяла и показать их начальнику.

Войталовская, может быть, и на этом не успокоилась бы, но вдруг грянул гром, из-за которого на время были забыты и «Любовь Яровая» и ущемлённое самолюбие журналистки.

Апофеозом недостойной травли евреев оказался процесс кремлёвских врачей.

Предписания о собраниях и митингах были разосланы, повидимому, заранее, до появления газет с неизвестными статьями, где врачи из Кремля обвинялись в страшных преступлениях, для того чтобы подготовить «стихийный характер» митингов.

У нас митинг был созван тотчас же после получения газет.

Всех собрали в столовой. Незнакомый военный прочитал статью, снабдив её комментариями вроде «евреи всегда продавали Россию», и попросил высказаться.

К глубокому разочарованию организаторов митинга, выступлений было всего два: Войталовской и моё. Молчали западницы, для которых «коммунист» и «еврей» были равнозначными синонимами, молчали и советские женщины, опешившие и растерявшиеся от самой формы подачи митинга.

Первой выступила Войталовская. С развевающимися кудрями, раскрасневшаяся. Сверкающая чёрными глазами, она вскочила с места и закричала, что самой её большой бедой в жизни было то, что случайно, против её воли, гормоны, благодаря которым она существует, оказались еврейскими. Что она клеймит, прокликает, презирает и т.д.

В ту минуту она была настолько жалка, настолько достойна сочувствия и утешения, что хотелось подойти к ней и погладить по вихрастой голове, заверить, что ей прощается великий грех её рождения.

Когда затих вулкан словоизвержения Войталовской и ответом на вопрос председателя собрания, кто желает высказаться, было молчание, я поднялась как лунатик и как во сне заговорила:

— Это фальшивка!.. Это очередная фальшивка! Как и у всех национальностей, среди евреев могут быть всякие, в том числе и преступники всех мастей. Но отравителей и убийц на почве национальной ненависти история не знает. Наоборот, историей заклеимлены организаторы нашумевших дел Дрейфуса и Бейлиса. И когда-нибудь те, кто затеял эту постыдную шумиху, постараются стереть в памяти людей неудачную роль, сыгранную ими в бесталанном спектакле....

Повторяю, я говорила, как во сне, не видя вокруг себя никого и ничего, кроме широко распахнутых еврейских глаз Войталовской, которые в рамке бледного лица наполнялись удивлением и ужасом.

Всё, что было потом, отпечаталось в моей памяти чисто фотографически, без участия сознания. Помню, как расходилось собрание, как Спендиарова, сложив руки, что-то говорила начальнику, как солистка самодеятельности, теребя пуговицу на моей кофте, убеждала, что я не права, что из-за исключительной чистоты собственной натуры я не склонна видеть пороки других, и т.д.

Я молчала, не спорила, потому что свой протест я могла бросить только людям с погонами и нашивками, а со своими бороться не могла. Да и выдохлась я сразу после своего выступления.

Я была готова ко всему. Но – ничего не случилось. Ни БУРа, ни выговора. Я продолжала заниматься щипкой слюды и доводкой «Любови Яровой». Никто не заговаривал и не напоминал мне о моём выступлении. Кроме Войталовской.

По её инициативе была закончена война на почве «Любови Яровой». В этой войне она без лишних слов признала себя побеждённой.

И тут вдруг другое событие потрясло всю страну, на время утихомирив все бури и страсти.

Болезнь и смерть Сталина.

Растерянность....

Слёзы....

Непритворные: у одних непритворно-радостные от забрезжившей надежды, у других – от непритворной печали.

Но, несмотря на то, что смерть сверхъестественного Чудо-Вождя должна была потрясти мир землетрясением и затмить солнце, всё пошло своим чередом. Так же щипалась слюда, с таким же отвращением и мечтой о картофельном супе поедалась противная мучная болтушка за обедом. Так же болели ноги, и близился к финишу спектакль.

Наконец наступила генеральная репетиция. В костюмах и в гриме шёл последний акт спектакля.

На репетиции присутствовала вся лагпунктовская элита. У самой сцены за маленьким столиком волновалась Марина Александровна. За её спиной неподвижно сидела Ярославская, а в самом дальнем углу у раздаточного окна сидела Войталовская и молча следила за ходом репетиции.

Поглощённая работой, я не заметила, как в зал проскользнула девушка из конторы. Протягивая Спендиаровой какую-то бумажку, она что-то зашептала ей на ухо. Спендиарова молча кивнула и усадила девушку рядом с собой.

Кончилась репетиция. Девушка поднялась и громко объявила мою фамилию (зэки друг друга не называли по номерам). — Вам нужно собраться с вещами. Рано утром до подъёма вы отправитесь в Тайшет на пересылку.

В ту пору большинство политических заключённых уже свыклось с мыслью о пожизненности своего заключения. Окружающие меня женщины знали, что срок у меня закончился ещё в прошлом году, но никто и в голове не держал, что я иду на свободу.

Вызов в Тайшет означал только одно: новое следствие и новый срок.

Все помнили моё выступление на антиеврейском собрании, и все были уверены, что этот вызов – не к добру.

Расстроенные и печальные, стали со мной прощаться участники самодеятельности. В руки мне совали пакетики с салом, сахаром, папиросами.

Была уже глубокая ночь, когда я, в сопровождении надзирательницы, отправилась в свой барак. Меня догнала Войталовская и молча пошла рядом. Когда за ними закрылась дверь барака, она взяла меня за руку и заговорила:

— Не принимайте во зло мою позицию в постановке «Любови Яровой». Возможно я заблуждалась, но это не от недобрых чувств, которых у меня к вам не было и быть не могло. Наоборот, даже борясь с вами, я испытывала к вам глубокое уважение. Будем надеяться, что вы идёте на свободу. Но что бы с вами ни случилось, не поминайте меня лихом!

Ей, наверно, плохо спалось в ту ночь. Чуть свет, когда я уже стояла у ворот, она прибежала с ворохом папирос и махорки. Сунув всё это в мой мешок, она сказала:

— Если это на следствие – будьте благоразумны. Не стоит выкладывать всё, что думаешь. Ваша прямота мне нравится, но здесь это – глас вопиющего...

Это было в марте 1953 года.

В Тайшетской пересылке ничего для меня не прояснилось. Никто никуда не вызывал, я ни о чём не спрашивала. На работу не гоняли. Поодиночке прибывали женщины, знакомые и незнакомые. Некоторых вызывали с вещами, и они исчезали неизвестно куда.

Много здесь было глубоких старух. Сроки у них давно кончились, но их не знали куда девать. И, хотя они были одиноки и беспомощны и не знали, что делать с долгожданной свободой, все они страстно мечтали о ней, пусть с нищенской сумой, но под вольным небом.

Прошло уже несколько дней моей жизни на пересылке. Однажды конторская женщина принесла в барак газету с ошеломляющей передовицей, в которой разоблачалось грязное «дело» кремлёвских врачей.

Кстати, эта дама была знакомая Спендиаровой, и та дала мне к ней рекомендательное письмо, в котором поручала меня её заботам, если я буду в чём-то нуждаться.

Дама встретила меня неприветливо, даже неприязненно, и я к ней больше не подходила.

А теперь, когда она, бросив газету на стол, ломая руки и повторяя «ничего не понимаю! Ничего не понимаю!», забегала по комнате, мне всё стало ясно. По-видимому, она всей душой поверила в клевету, умилялась поступком медсестры, «разоблачившей еврейскую шайку». А тут – ах, какой скандал! Разом рушились её представления о непогрешимости правящих кругов. Рушились причины, так убедительно и благопристойно оправдывающие её собственную неприязнь к евреям.

В тот день лица надзирателей и охраны были растерянными, исчезли понукающие интонации, и в бараках они стали появляться реже.

В какой-то день меня вызвали к начальнику по учёту рабсилы.

С вымученной улыбкой он сообщил, что я вызвана на «расторжение договора».

Забыла сказать, что ещё в период украшения лагерей одним из фиговых листочков была замена простого слова «освобождение» формулировкой «расторжение договора». Тогда же эков стали заставлять подписываться на заём, отнимая у них те несчастные гроши, которые они получали из дому или скопили из жалкого премвознаграждения.

И тогда же стали собирать их подписи под Стокгольмским возванием.

Нужно было втереть очки, что в нашей стране нет заключённых, а только вербованные.

Взяв с меня подписку о неразглашении и «отечески» посоветовав больше не заниматься контрреволюцией, он отпустил меня в барак.

Я ушла, так и не поняв и не поверив, что это – свобода. Тем более, что никто не раскрыл передо мной ворот и спать я легла в том же бараке, в той же зоне с высоким забором и часовыми на вышках.

(Только недавно, заглянув в справку, я увидела, что этот сукин сын «отец», вместо фактического времени освобождения, отступил на несколько месяцев назад и указал октябрь 1952 года.)

Я не верила, когда меня в обществе нескольких мужчин и женщин, снабдив сухим пайком – торбой жирных омулей и огромным караваем хлеба, – направили в Красноярск. И опять это была не свобода, а пересыльный корпус Красноярской тюрьмы.

В камере меня поразило обилие вещей, обычно недозволенных в тюрьме.

На столе совершенно открыто лежали ножи и ножницы, в углу стояла упакованная швейная машина. Стояли сундуки, чемоданы и чья-то разохшаяся шайка, напиханная узелками и связанная верёвкой.

А больше всего меня поразили комсомольские значки на лацканах жакетов нескольких литовок, латышек, эстонок и украинок.

Всё стало ясно после разговора с ними.

Они не были заключёнными. Просто сочли необходимым сослать их на поселение в Красноярский край, не отнимая комсомольских билетов и значков. В Сибири тоже нужны комсомольцы!

(Это напомнило мне мужской лагерь немцев Поволжья, который мы в конце войны посетили с кукольным театром. Там была своя партийная ячейка, партбилеты, собрания, закрытые и открытые, зона с вышками и часовыми и ворота на запоре. Через них могли выходить немногие и только по пропускам.)

Красноярская тюрьма была вроде восточного невольничьего базара. Сюда являлись «покупатели» для набора рабочей силы. А так как зимой особой нужды в рабочих не было и «покупатели» являлись редко, девушки коротали дни за рукоделием, а мальчики постигали сложную науку преступного мира, наполнявшего тюрьму.

Сейчас была весна. Наниматели стали появляться часто, по несколько человек сразу. Процесс найма и впрямь напоминал покупку крепостных или аукцион рабов.

Меня на такой «аукцион» вызвали в числе большой группы женщин, в основном крепких молодых девчат.

В кабинете начальника тюрьмы сидели два человека в штатском. Наниматели. Нет, нам не смотрели в зубы, не щупали мускулов, но, бросив цепкий взгляд в нашу сторону, они наперебой тыкали пальцем в грудь приглянувшейся особы. Когда оба пальца сходились на одной груди, между нанимателями возникал спор, в котором чаще побеждал невысокий, белокурый человек в чёрном костюме, с глазами, похожими на блекло-голубые пуговицы с чёрными дырочками посередине.

Когда «аукцион» закончился, оказалось, что я осталась «непроданной».

Моя с прозеленью бледность и тщедушие ни у одного нанимателя не вызвали желания обогатиться таким приобретением.

— Я и так уже взял двух мамок с детьми, а яслей у меня нет. Зачем мне лишние дармоеды? — хрипел краснолицый великан, второй наниматель. Но тут вмешался начальник тюрьмы:

— Эту женщину возьмёшь ты, — обратился он к белокурому. — А иначе не дам тебе никого. Надо же и совесть ПОИМЕТЬ!

И белокурому пришлось внести меня в список.

И опять я была как во сне, и опять не верила, что это — воля, когда в двух густо напиханных мужчинами и женщинами грузовиках, с охраной по углам, нас куда-то повезли.

Четыре часа пути на грузовиках, и мы в маленьком посёлке химлесхоза, за тридцать километров от Казачинска. Конвой сдал нас белокурому и исчез из моей жизни. Хочу надеяться, что навсегда.

Я оказалась на свободе с какой-то собачьей кличкой, в которую превратилось моё имя под пером невнимательного писаря. Альма! Кличка, подаренная мне тюремным канцеляристом, нравилась мне больше имени, подаренного родителями.

Это было 19 апреля 1953 года.

Не скажу, что нас встретили на новом месте невнимательно.

Для нас, десяти женщин, выделили избушку. За ней стояли длинные поленицы дров — топи сколько хочешь. Всем выдали постельные принадлежности и денежный аванс. На него мы тут же приобрели самое необходимое: котелки, ложки, кружки; купили хлеба, картошки, сахару.

Пока комплектовались бригады по сбору живицы, мы целую неделю отдыхали, обстирывались, штопали дырки на своих лохмотьях и гуляли.

Как хорошо было гулять, не чувствуя сзади солдата с ружьём! Как хорошо и странно было чувствовать себя свободной, хотя свобода простиралась не более чем на три километра в любую сторону.

Каким вкусным казался хлеб, не выданный в хлебрезке, а собственноручно купленный за деньги в магазинчике. И какой райский вкус был у картошки,

приправленной неподжаренным постным маслом. А сахар! Не ежедневный спичечный коробок, а полновесный килограмм, отвешенный продавцом опять-таки за твои деньги.

Радость портила только необходимость раз в неделю ходить на отметку в комендатуру.

Бригадир или мастер, к которому я попала в бригаду, был совсем молоденьким парнишкой. Он не расставался с новеньким ружьём, может и спал с ним, судя по тому, что знакомиться с бригадой он пришёл с ружьём за плечами.

Поглядев на меня, он с сомнением покачал головой, подумал и спросил:

— Хотите, я попрошу директора, чтобы он дал вам работу в посёлке?

Вот те на! А мне казалось, что за эту неделю я стала хоть не Ильёй Муромцем, но всё же не хуже других.

— Нет, — заявила я. — Только в лес. Не бойтесь, я буду работать не хуже других.

Мастер не стал возражать. На следующий день вся бригада на трёх санях со всеми своими пожитками отправилась в тайгу.

По участкам распределяли семьями или просто парами: мужчина на подсочке, а женщины в израненный подсочным ножом ствол сосны забивали желобки и колышки и вешали воронки. В них натекала живица, и летом женщины ходили по тайге и переливали её в тяжёлые деревянные вёдра. Надо сказать, что женская работа была во много раз тяжелее мужской.

Мне в пару попался такой же доходяга, как я сама. В прошлом офицер, он отсидел в лагере десять лет за сдачу в плен.

Никакого следа не оставил в моей памяти этот, вечно кашляющий, угрюмый человек. Поработав недели две, он заболел и навсегда исчез из посёлка. Я осталась на участке одна – и за подсочника и за сборщицу.

Участок считался бросовым, напарника мне не нашлось, потому что все бригады были уже укомплектованы. И когда я попросила оставить участок за мной, пообещав работать за двоих, – мастер согласился. Ему всё равно было некуда меня девать.

Всей бригадой – мужчины и женщины – мы жили в таёжной избушке за шесть километров от посёлка. В избушку откуда-то ухитрились забрать клопы и тараканы, днём и ночью топились железная «буржуйка», было тесно и душно, и я решила уйти жить на свой участок, хоть под сосну, но на свежий воздух.

Обегая на коротких лыжах участок, я однажды наткнулась на чудесный шалаш. Прочный, изнутри и снаружи обитый берестой, с лежаком, большим чурбаком вместо стола и дверцей с верёвочкой вместо запора. Над шалашом распростёрла ветви огромная сосна. На её стволе был вырезан католический крест.

Не помня себя от радости, я тут же собрала пожитки и переселилась в шалаш, удалившись от избышки на три километра.

Какое это было прекрасное время! Какие чудные весну и лето я провела в тайге. Впервые за многие годы я была счастлива. Счастлива от полного одиночества, что окружают меня не сварливые, смеющиеся, плачущие, бранящиеся, обездоленные и тоскующие люди, а величавые приветливые сосны, весёлые берёзы, стройные колонны громадных осин.

Слух приятно тревожил только птичий гомон и шорох травы под лапками пробегающего зверька. Радует косуля, приходящая к ручью попить и полизать соли. Для неё я каждое утро посыпаю солью большой камень у ручья. Огромный головастый глухарь важно расхаживает по полянке, карауля свою подругу, сидящую в гнезде. По утрам она стоит рядом со мной у ручья и ждёт, пока я покончу с умыванием, чтобы спокойно попить воды.

Косолапые Михайлы тоже гуляют поблизости. Днём ровная белая лента зарубок не позволяет Мишке заходить на участок. Он знает, что за белой лентой работает человек, и не надо ему мешать. Только ночью забредает он на участок, влекомый любопытством и запахом пищи. К шалашу он не приближается. А может быть и приближается – не знаю, потому что, одурев от свежего воздуха и работы, я на закате засыпаю в своём шалаше как убитая, без сновидений, под защитой берестяной дверцы, взятой на верёвочку.

Утром я обнаруживаю на деревьях следы Мишкиных когтей и помёт, а сам он бродит где-то рядом, за «запретной зоной».

Только в первые ночи меня будили оружие дурными голосами филины. А потом я перестала их слышать.

Удивительный народ – звери и птицы! Какая интуиция или инстинкт помогли им так быстро раскусить существо в рваных брюках, расхаживающее по лесу с длинной палкой. Понять, что ни это существо, ни его палка не только не представляют опасности, а наоборот, достойны снисхождения. Рябчики подпускают меня так близко, что чуть не наступаю на них. Возле шалаша поселились бурундуки. Стоило мне появиться, как они затевали вокруг меня бурную игру, носясь взад и вперёд как озорные котята.

Над головой пробует голос кукушка: ку-ку!.. И пускает хриплого петуха. Как заправская певица откашливается, прочищает горло и снова — ку-ку!.. Своим хрипением, откашливанием и петухами кукушка по утрам похожа на охрипшего с перепоею дьячка.

Шумно в тайге. От птичьего гомона звенит и дрожит воздух. И вдруг лес начинает затихать. Тишина накатывается откуда-то издалека. Вот над головой испуганно пискнула какая-то пичуга, и всё вокруг замирает, будто здесь и не водится ничего живого.

Ага! Издали доносится свист. Это условный сигнал мастера. Он идёт проверить, жива ли я и как движется работа. Или несёт зарплату.

Где-то далеко на тропинке его заметила какая-нибудь пичужка (а может быть, у птиц специально ставят часовых?), подала сигнал тревоги – и вот уже по всей тайге разносится недобрая весть: идёт человек с ружьём!

Затишают и прячутся не только птицы, но и зверушки.

Заполнив наряд или выдав зарплату, мастер уходит. Проходят несколько минут... И вот одна пичуга подаёт голос: «Ушёл?» «Ушёл!» — неуверенно отвечает ей подруга. В разговор вступают другие, и вот уже тайга снова наполняется щебетом, свистом, трелями иволги и хриплым откашливанием кукушки.

Я не любила приходов мастера. Боялась, что он станет шляться по участку, найдёт гнездо МОЕГО глухариного семейства, набредёт на МОЮ косулю, или ранит МОЕГО дисциплинированного мишку.

Я уверяла его, что на моём участке дичи нет, просила не приходить с ружьём, потому что я боюсь, и мне делается дурно и т.д.

С тех пор он возле моего шалаша появлялся без ружья. Но, обманывая меня, он не мог обмануть птиц. По-прежнему лес встречал его только шумом сосновых крон и мёртвым молчанием.

Раз в неделю, а то и в две, нужно, нужно было идти в посёлок на отметку и за продуктами. Каким безнадежно потеряннным казался этот день.

Отсутствие тяготения к человеческому обществу было и у других обитателей таёжных избышек. Стоя в небольшой очереди в магазинчике, все мы, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, понукали продавца, чтобы скорее поворачивался. Наполнив рюкзаки, почти бегом направлялись к тайге. А там по одной, известной только ему тропинке, каждый направлялся к своему участку, к милому одиночеству в своём шалаше или избышке.

Из всего посёлка только я одна работала в одиночку. Закончив очередную подсочку, я принималась за сбор и, к удивлению мастера и белобрысого директора, как-то сводила концы с концами.

Я вставала вместе с солнцем, с аппетитом завтракала и отправлялась на работу.

На подсочке солнце иной раз слепило глаза. Я поругивала его и улыбалась.

Таская тяжёлые вёдра с живицей, я спотыкалась, падала и больно ушибалась, но поднималась с улыбкой. В то лето эта счастливая, глупая улыбка вообще не сходила с моего лица. Она пряталась только в посёлке, но когда за моей спиной оставалась пыльная дорога, и я вступала на заросшую травой таёжную тропу – улыбка появлялась снова.

Полноты у меня не прибавлялось, но я окрепла, приобрела здоровый цвет лица и румянец. И как мне хотелось, чтобы это чудесное лето никогда не кончалось.

В конце сентября, погрузив последнюю бочку живицы, инвентарь и свои пожитки на подводу, я с щемящим сердцем распрощалась с шалашом, бурундуками, птицами и отправилась на зимовку в посёлок.

Прощай, моя косуля!

Прощайте, мои косолапые Мишки!

Прощайте, мои доверчивые, милые соседи – семейство глухарей!

Работы в посёлке зимой почти не было. В основном проедали деньги, заработанные летом. Да ещё резали строительную дранку, но она находила сбыт не сразу, и платили за неё, когда находился покупатель и исчезали все заготовленные впрок штабеля дранки.

У меня заработанных денег было маловато, а нужно было одеться и обуться. Поэтому, с разрешения директора, я перебралась в соседний леспромхоз под Абалаковым. Здесь я устроилась на складе горючего колоть чурку для газогенераторных машин.

Здесь же у меня завязались приятельские отношения с заведующим складом, переросшие затем в довольно странный брак.

Я не хочу порочить те три года, проведённые с ним в этом эрзац-браке.

Всё же это были хорошие годы. Нам дали квартиру, обзавелись огородом, курами и котёнком. Я тешилась хозяйством, готовила вкусные армянские блюда, но... ничего прочного и основательного от этого неравного брака ждать не приходилось.

Он – армянин, в прошлом второй секретарь Ереванского обкома партии. В том же прошлом у него осталась жена и двое детей, о которых он тосковал беспрестанно. Но жена от него отказалась, за пятнадцать лет не написала ни одного письма.

А впереди – пожизненная ссылка. Её просто необходимо было смягчить, украсить иллюзией домашнего очага.

У меня же позади только безвестные могилы, в перспективе – та же пожизненная ссылка. Её невозможно, сверх человеческих сил, провести в грязных общежитиях, в шуме пьяных гулянок.

... Потом был двадцатый съезд, головокружительные разоблачения, реабилитация невинно осуждённых...

Вскоре, вместе с реабилитацией, он получил вызов в Москву, и навсегда ушёл из моей жизни, не оставив ни любви, ни ненависти.

После его отъезда меня начали всячески притеснять, чтобы выжить из квартиры, которую я с такой любовью из обыкновенного сруба превратила в уютное жильё. Я, как всегда, отступила в неравной битве и решила уехать на

родину, чтобы там, как говорится, в родных стенах найти приют и хотя бы старую фотографию, которая бы воскресила в памяти дорогие лица.

Не нашла я на родине ни стен, ни фотографий. Для меня там были приготовлены только авгиевы конюшни, которые я должна была чистить ради хлеба насущного.

Моя короткая повесть о большом куске жизни подходит к концу. Она коротка, эта повесть, хотя охватывает полвека, и короткими были только дни сравнительного благополучия и редких, скудных радостей, выпадавших на долю автора.

А дни и годы мучений – какими они были длинными, томительными, безнадежными.

Каждый час казался годом, а солнечный закат, вместо отдыха, вселял в душу тревогу и страх перед наступлением завтрашнего дня и предчувствие ещё какого-нибудь «новшества», изобретённого для того, чтобы вернее придушить, выхолостить в людях остатки самосознания, превратить их в роботов, оставив им только одно самое страшное чувство – чувство боли.

Какими длинными казались короткие зимние дни на лесоповале при сорокаградусном морозе, когда ни работа, ни костёр не спасали истощённого, прикрытого отрепьем тела от холода. А черпачёк горячей бурды из зелёных капустных листьев вместо тепла приносил только слабость и озноб.

Какими длинными казались дни весной, когда до колен или по пояс в ледяной воде приходилось корчевать пни под понукание «давай, давай!». А следом уже насыпалась насыпь, и бог знает, сколько там оставалось под водой пней и сколько аварий было потом из-за плохо подготовленных «подушек», когда по насыпи пошли поезда. Никакие «давай» не помогали, потому что давать было нечего и нечем.

Какими длинными были знойные дни на совхозных полях, когда, превращая тощий песок в плодородную почву, мы попутно, как наши первобытные дикие предки, искали съедобные сорняки и корни, чтобы обмануть вечно терзавший нас голод.

На полях мы выращивали первосортные овощи, а кормили нас котлетками из иван-чая и похлёбкой из крапивы.

И есть ещё одна причина, из-за которой я галопом проскакала через годы и опустила много событий, лежащих чёрным пятном на совести виновников, если у них есть совесть, – это боль и стыд за опозоренную родину.

А они вовсе не чувствовали и не чувствуют себя опозоренными.

— Мы создали великую державу! — кричат они, — мы построили города! Мы построили железные дороги! Мы построили каналы! МЫ, мы, мы! Мы пахали.

Крутой поворот в истории они восприняли как очередной изгиб в гибкой политике партии. Концепцию о материальном стимуле отнесли почти целиком за

свой счёт, строя для себя особняки при наличии государственных квартир, захватывая все блага в первую очередь для себя, не обращая внимания на то, что рядом сотни и тысячи подлинных создателей материальных ценностей терпят нужду в самом необходимом. Умертвив свои души, они стали «мёртвыми душами» для тех, о чьём благополучии должны заботиться, а «мёртвые сраму не имут». И настолько не имут, что и теперь продолжают выставлять свой голый зад под розги и на осмеяние всего мира, позоря себя преследованием людей, цель которых – будить засыпающую совесть, предотвратить возможность повторения прежних преступлений или «ошибок», как это угодно называть тем, кто ещё способен краснеть от стыда.

Короток, сер и скучен мой рассказ. Нет в нём ярких красок. Это оттого, что почти всё прошлое в моей памяти окрашено в серый цвет: серое небо. Серые бушлаты, серая пыль на дорогах моего детства.

Моя жизнь тоже близится к концу. И – бог с ней. Нет в ней ничего, о чём стоило бы пожалеть. Нет у меня ни крова, ни покоя. По-прежнему я бездомна, как бродячая собака.

Как смирилась моя дочь, поняв, что мольбы её напрасны, и унеся в могилу обиду на свою мать, которая должна была защитить её от зла, но не защитила, – так и я смирилась с тем, что мои просьбы наталкивались на глухую холодную стену.

Когда-то давно, стоя у трупа девушки с вытатуированным на руке номером, которую, развлекаясь, убили охранники, я поклялась когда-нибудь рассказать об этом людям.

Заканчивая свою повесть, я обращаюсь к далёкой тени той девушки и говорю:

— По мере своего умения – я выполнила эту клятву.

1969 – 1971гг

Мена – Ленинград.